

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин

1

В конце квартала, когда к нам съехались представители заводов с заявками насчет инструмента и творился сущий бедлам, мне позвонила незнакомая женщина, она принялась расспрашивать про Волкова, которого я должен знать, поскольку я воевал вместе с ним на Ленинградском фронте. Сперва я решил, что это недоразумение. Не помнил я никакого Волкова. Но она настаивала – ведь был же я в сорок втором и сорок третьем годах в частях под Ленинградом. Что значит – в частях? В каких именно? Она не знала, – видимо, она представляла себе фронт чем-то вроде туристского кемпинга, где все могут перезнакомиться. В доказательство она назвала номер полевой почты. Как будто я помнил, какой у нас был номер. А вы проверьте, потребовала она. Интересно, где проверить, как, – меня все больше злила ее настырность. Есть же у вас письма, уверенно подсказала она. Нет у меня писем, закричал я, представив себе, что надо ехать за город, рыться в дачном сундуке, нету писем. На это она, словно успокаивая, сообщила, что специально приехала из Грузии повидать меня. Этого еще не хватало, очень жаль, но тут какая-то ошибка, я Волкова не знаю, я занят, я не смогу ей быть полезным, и так далее, – со всей решительностью и сухостью обозначил я конец разговора. В ответ она усмехнулась и объявила непреклонно, что все равно повидает меня, хочу я этого или не хочу, и лучше не спорить, потому что потом мне будет неловко. Самонадеянность ее могла вывести из себя кого угодно. Извините, извините, не слушая, повторял я и хлопнул трубку на аппарат. Она тотчас позвонила снова. У меня сидели заказчики, и я должен был взять трубку. Она гневно принялась стыдить меня фронтовым братством, хваленой преданностью боевым друзьям, которые, не жалея сил, разыскивают друг друга, – весь тот шоколадный набор, которым потчуют годами по радио, в киножурналах сладкоголосые, умиленные журналистки. Меня заело: теперь эта неизвестная будет учить меня фронтовому братству, да идите вы... Но она не слушала, она обещала привести какие-то неоспоримые факты, сыпала датами, именами и вдруг произнесла имя-имечко, каким давным-давно меня окрестили те, кого уже не увидишь на этой земле. Те, с кем маялся в нарядах, спал в казарме на двухэтажных койках, топал в строю по бульжникам тихого Ульяновска с посвистом и песней. Там, в училище, и прилепилось ко мне: Тоха – Антон, Антоха, Тоха – и докатилось до фронта, куда мы прибыли досрочными лейтенантами для прохождения службы в танковых частях, которых уже не было. Танки на Ленинградском фронте к тому времени превратились в огневые точки, закопанные в землю, торчала одна башня с пушкой.

С тех пор меня никто не называл Тохой.
Ладно, сказал я, приходите.

Что-то у меня сбилось с этой минуты. Конечно, я дал слабину. На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза. Много лет, как я запретил себе заниматься этими цапками. Были тому причины.

Утешился я тем, что все кончится просьбой насчет инструмента. Вне очереди, или без фондов чего-то отпустить. К тому все приходит. Из какого бы далека ни делались заходы – друзья-родичи, с женой в больнице лежали – и вдруг: вот тут бумажечка, подпишите. Никто ко мне так, за здорово живешь, не приезжает.

На этом я разрядился, забыл о ней, и, когда на завтра она позвонила, я не сразу сообразил, что это именно она. Появилась она в моем закутке как очередной посетитель, из тех, что томились в коридоре. Остановилась в дверях, оглядывая меня недоуменно.

– Вы Дударев? Антон Максимович?

На дверях было написано; никто не задавал мне здесь такого дурацкого вопроса.

Она продолжала изучать меня удивленно, потом робко попятилась и вдруг хмыкнула. Смешок прозвучал неуместно, обидно. Она представилась. Я узнал ее низкий голос по легкому кавказскому акценту. Звали ее Жанна, дальше следовало труднопроизносимое отчество, и она просила звать ее по имени, как принято в Грузии. Она была не молода, много за сорок, но еще красивая, крепкая женщина, копна черных волос нависала на лоб, делая ее мрачно-серьезной.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

Волков Сергей Алексеевич, повторяла она упрямо, как гипнотизер, следя за мной угольно-черными глазами. Я подтвердил, что не помню такого. Слова «не помню» вызвали у нее недоверие. Ей казалось невозможным не помнить Волкова. А Лукина я помню? И Лукина я не помнил. Это ее не обескуражило, наоборот, как бы удовлетворило.

После этого она успокоенно уселась, выложила на стол объемистую оранжевую папку.

– Может быть, вам неприятно вспоминать то время?

Если бы она спросила от души, может, я кое-что и пояснил бы ей, но она хотела меня подколоть.

– Как так неприятно, – сказал я, – это наша гордость, мы только и делаем, что вспоминаем.

Она протянула мне письмо. Старое письмо, которое лежало сверху, приготовленное. На второй странице несколько строчек были свежее подчеркнуты красным фломастером:

«У нас лейтенант Антон Дударев отчаянно не согласен в этом вопросе. По его понятию, любовь только мешает солдату воевать, снижает боеспособность и неустранимость. А вы как, Жанна, думаете? Малый этот Тоха, как мы его называем, жизненной практики не проходил, можно сказать, школьный лейтенант-теоретик. Я же доказываю, что сильное чувство помогает сознанию. За любовь, за нашу молодость мы боремся против немецких оккупантов и защищаем великий город Ленина».

Лиловые чернила, какими теперь не пишут, косо ровный почерк, каким тоже не пишут, письмо о том, кто когда-то был мною.

Гладкое лицо ее оставалось бесстрастным, жизнь шла в темноте глаз, она мысленно повторяла за мной текст, и где-то в черной глубине весело проискрило. Это был отблеск той внутренней улыбки, с какой она сравнивала меня и того лейтенанта. Я увидел ее глазами обоих: тоненького, перетянутого в талии широким ремнем, в пилотке, которая так шла шевелюре, и в фуражке, которая так шла его узкому лицу, кирзовые сапоги, которыми он умел так лихо щелкать, – молочно-розовый лейтенант, привычный портрет, который она набросала по дороге сюда, – и другого, плешивого, с отвислыми щеками, припадающего на правую ногу от боли в колене, – скучный, мало приятный, невеселый тип, который ныне тот самый Тоха. Не ожидала она найти такое? От соединения их и произошла улыбка. Наверное, это было и впрямь смешно. За тридцать с лишним лет каждого уводит куда-то в сторону. Никто не стареет по прямой...

– Это про вас написано? – спросила она.

– Может, и про меня, теперь трудно установить.

– Никакого другого Антона Дударова в Ленинграде нет. Вашего возраста, – добавила она.

– Чье это письмо?

– Лукина Бориса.

Она ждала. Она была уверена, что я ахну, пущу слезу, что из меня посыплется воспоминания. Ничего не найдя на моем лице, она нахмурилась.

– Пожалуйста, читайте дальше. Читайте, – попросила она. – Вы вспомните.

Она как бы внушала мне, но у меня даже любопытства не было. Ничего не отзывалось. Пустые, давно закрытые помещения. После смерти жены я перестал вспоминать. Преданность воспоминательному процессу вызывала у меня отвращение. Пышный обряд, от которого остается горечь.

«...Молодость, как гордо звучит это слово. При любой обстановке она требует своего и заставляет человека испить хоть маленькую дозу своего напитка. Жанна, я самый обыкновенный парень, это нас должно еще больше сблизить, конечно, если вы ничего не имеете против. Несколько слов о себе. Родился в 1918 году. До войны работал

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru проектировщиком. Проектная работа – мое любимое дело. Время проводил весело. Лучшим отдыхом были танцы. Музыка на меня действует сильно. В саду летом, в клубе зимой меня можно было встретить неумоимо танцующим вальс «Пламенное сердце», польское танго, шаконь и другие модные танцы. В общем, люблю жить, работать и отдыхать. Жанна, прошу выслать фотокарточку, как та, которую я видел у Аполлона. Жду ответа, с Вашего позволения шлю воздушный поцелуй. Борис».

Конверт розовенький, на нем слепо отпечатана боевая сценка – санитарка перевязывает раненого бойца. Такие конвертики и я посылал. Почему рисунок этот должен был успокаивать наших адресатов – неясно. Штемпель – май сорок второго года.

Та блокадная весна... Молодая, неслышанно-зеленая трава на откосе. Солдаты наши лазали за ней, варили в котелках крапиву, щавель, одуванчики, жевали, сосали сырую зелень расшатанными от цинги зубами, сплевывали горечь. Слюна была с кровью. Вспомнилась раскрытая банка сгущенки. Она стояла на нарах, после обстрела в нее сквозь щели наката насыпался песок... Крохотным стал круг, освещенный копилкой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигались какие-то тени, безымянные призраки.

– Припомнили?

– Нет.

– У меня есть его фотография.

Она действовала с терпеливой настойчивостью, надеясь как-то оживить мои мозги явного склеротика.

Одна фотография была пять на шесть, другая совсем маленькая, на офицерское удостоверение. На первой – мальчик, мальчишечка задрал подбородок, фуражка с длинным козырьком, плечи прямоугольные, скулы торчат, медалька какая-то блестит. Бессонница, голодуха обстругали лицо до предела, а вид держит бравый, упоен своей храбростью и верой, что обязательно уцелеет. Где-то и у меня валяется моя карточка, похожая, фотограф кричал нам: «Гвардейскую улыбочку!» Половина избы снесена. У печи угол, затянутый плащ-палаткой. Перезаряжать он лазил в погреб.

– Как же так, вы должны его знать, – непререкаемо сказала она, и я стал вглядываться.

– Это что же, адъютант комбата-два? – спросил я. – Так это старлей Лукин.

Чуб у него был золотистый, курчавистый. Вспомнился его хриплый хохоток. Франт, пижон, гусар – и отчаянный, без всякого страха. На другой карточке он уже капитан. На обороте написано: «1943 год, ноябрь». Полтора года прошло. А как повзрослел. Год передовой засчитывался нам за два, – следовало его считать за четыре. По карточкам видно, как быстро мы старели. Тогда это называлось – мужали.

– Узнали! – сказала она. – Вот видите.

– Где он? Что с ним?

– Понятия не имею, – произнесла она без особого сожаления.

– Это все его письма?

– Не все, часть.

– Вам?

– Мне.

– Значит, вы с ним долго переписывались?

– Долго, – она кивнула, понимая, куда я клоню.

– И чем это кончилось?

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Плохо кончилось, – весело сказала она. – Но это сейчас неважно. Я писала ему как бойцу на фронт, – пояснила она. – Было такое движение. Помните?

– Да.

Я помнил такое движение. Оно приезжало ко мне в госпиталь, это движение, прелестное зеленоглазое движение.

– С ним в одной части служил и Сергей Волков, – тем же внушающим голосом говорила она, следя за моим лицом. – Сергей Волков.

– У вас потом с ним что-то произошло?

– С кем?

– С Лукиным.

– Ничего особенного. Что вас еще интересует?

– А мне-то что... Не я к вам пришел.

– Между нами ничего не было.

Она нахмурилась. Угрюмость ей шла. Недаром Лукин что-то угадал в этой особе. Он разбирался в женщинах.

– Жив он?

– Не знаю.

– Как же так, – сказал я.

Она сердито мотнула своей черной гривой:

– Но вы тоже не знаете. Вместе воевали, друзья-товарищи, с вас больше спроса.

– С меня? С меня спрос кончился. Где вы раньше были? Явились не запылились, когда все быльем поросло... Тридцать лет, целая жизнь! И что? А?

Я сорвался, она не понимала, в чем дело, она выпрямилась, надменно и обиженно.

– Извините, вы тут ни при чем... – сказал я. – Что вам, собственно, нужно?

– Мне нужно расспросить вас о Сергее Волкове, с ним вместе вы служили... – Она отдельно вдалбливала каждое слово.

– Повторяю, я такого не помню, – так же отдельно ответил я. – Про Лукина – пожалуйста. К сожалению, я больше не могу отвлекаться.

Она поднялась, захлопнула папку.

– Тогда я вас подожду, – сказала она.

– То есть как это?

– Я не могу уехать, не выяснив.

– После работы я буду занят. Да кроме того, я вам уже все сказал.

– Вы вспомнили Лукина, вспомните и Волкова. Я буду вас ждать внизу, в вестибюле.

В кабинете было душно. Посетители приходили и уходили. Я подписывал бумаги, сочувственно кивал, вздыхал, отказывал, отодвигал бумаги, а сам незаметно растирал пальцы. Стоило мне завестись, поволноваться, как у меня сводило пальцы. Лет пять уже таким образом давала знать себя рана в плече. Очнулась.

В каморке моей умещались два облезлых кресла, старый сейф, о который все

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru стукались. В сейфе я держал лекарства, девочки прятали туда подарки, купленные ко дню рождения кого-то из них. Полутемная скошенная конура выдавала с головой однообразие моей работы и невидность конторского существования. Мне представился Борис, такой, как на фотографии: чуб из-под фуражки, красноватый ремень со звездой, Борис тоже, небось, ухмыльнулся бы, оглядев эту дыру и облыселое чучело за столом. Мог бы он узнать во мне лейтенанта, с которым в последний раз встретился на развилке шоссе в Эстонии? Я прогромыхал мимо него на новеньком танке «ИС» – тяжелом, могучем красавце. Мы наконец-то получили машины. Колонна наша шла на запад. Я стоял по пояс в башне с откинутым люком. Кожаная куртка накинута на плечи, а на плечах погоны старшего лейтенанта. Черный шлем, ларингофончики болтались на шее. Мокрые поля, красные черепичные крыши хуторов, неслышные птицы в небе, неслышно кричит и машет вслед наш батальон, все заполняет лязг и грохот гусениц. Весь мир ждал нас, мы двигались освобождать Европу, мы несли справедливость, свободу и будущее! Кем только я не видел себя в мечтах, будущее переливалось, играло бриллиантовым блеском. «Ну, и чего ты достиг, Тоха? – спросил бы Борис сочувственно. – Зачем это ты сюда забрался?»

Эх, Боря, Боря, да разве можно являться через тридцать лет и думать, что все шло по восходящей. Если я был тогда молодцом, то так по прямой вверх и должен был возноситься?

– Нет, голубчик, так требовать нельзя, такой номер не проходит!

– Да я с тебя не требую, чего с тебя требовать, – сказал Колесников. – Инструмент ваш как был дерьмовый, так и остается. И за таким дерьмом приходится шапку ломать. Было бы мне куда податься, ты бы меня тут кофеем поил с тортом, дверь бы передо мной открывал, а так я тебя должен в забегаловку водить. Ума много, а все в дураках хожу.

Я открыл было рот, он замахал руками:

– Знаю, знаю. Вы получаете негодный металл, который тоже выпрашиваете, станки у вас демидовских времен...

Разговор этот у нас повторялся ежегодно. Колесников единственный из заказчиков, который не боялся мне в глаза бранить нашу продукцию. Он честил ее теми же словами, что и я когда-то на наших совещаниях. Он единственный из заказчиков, кто позволял себе это, на этом мы и подружались. Он являлся в конце дня, и, сделав все дела, мы отправлялись с ним в «Ландыш». Со временем эта церемония вошла в привычку, мы топали туда независимо от судьбы его заявок, угощал я – за удовольствие послушать правду о качестве, о котором никто не смел заикнуться. Несколько лет назад я затеял битву за качество и, честно говоря, проиграл ее. Никто меня не поддержал. Упрекали в том, что я не патриот своего производства, что я «пятая колонна»... Колесников у себя на Урале тоже воевал с туфтой и показухой. Съезженный, тщедушный, бледно-синий, словно бы замерзший, он говорил с пылом, не осторожничая, расстояние между мыслью и словом у него было кратчайшее, безо всяких фильтров, он отпускал то, что было у него на уме, в натуральном виде.

– Я вас жду.

Жанна стояла у подъезда между колонн.

– Но я вас предупреждал. Мы с товарищем Колесниковым договорились, – сказал я.

– Господи, да у нас ничего срочного, – перебил меня Колесников, восхищенно уставясь на Жанну. В светло-сером плаще, с клетчатым шарфиком, она выглядела эффектно.

– Мы всего лишь перекусить собрались, – бесхитростно признался Колесников.

– Я бы тоже не прочь, – сказала Жанна, – я проголодалась. Если я вам не помешаю.

– Мне нисколько, – поспешил Колесников и посмотрел на меня.

Я пожал плечами.

Малозаметное кафе «Ландыш» не нуждалось в рекламе. Крохотная зеленая вывеска

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru была известна всем, кому надо. Кафе служило прибежищем местным выпивохам среднего слоя, а также обслуживало нашу фирму. Здесь обмывали премии, справляли мелкие юбилеи, обговаривали деликатные дела. Сюда приходили после субботников, перед отпуском, после выговора. Рано или поздно сюда перекантовывались официантки нашей столовой. В «Ландыше» они быстро менялись – хамели, толстели, начинали закладывать, но нас, по старой памяти, привечали.

Обслуживала Наталья. В прошлый раз один снаб из Молдавии щедро отметил свою удачу, и сейчас она подмигнула мне, вспоминая тот шумный заход. Наталья предложила экстра-меню: бульон, сосиски с капустой, бутерброд с чавычей, кофе и, разумеется, «бомбу» – шампанское с коньяком. фирменным в этом наборе был кофе, который варили не в большом чайнике, а в джезве.

Поодаль от нас в ускоренном блаженстве опрокидывали свою порцию в честь конца работы разные ханурики. Публика сюда жаловала беззлобная, малоимущая, душевная, здесь всегда можно было найти себе слушателя, чье сочувствие бывает незаменимо.

– Это кто же, новая сотрудница? – без стеснения спросила Наталья.

– Моя личная знакомая, – сказал я. – Приехала сюда закусить из Грузии.

– То-то больно симпатичная. К вам в шарагу такая женщина не поступит.

Исключив Колесникова, Наталья соединила меня и Жанну оценивающим взглядом, в котором было черт знает что.

Мы ели и пили. Колесников нахваливал Тбилиси, произнес тост за Грузию и грузинок. У них сразу установились легкие, простые отношения.

– В нашем возрасте, когда такая женщина обращается к нам с любой просьбой, это уже счастье, – рассуждал он. – Зачем вам Дударев? Он слишком честен и зануден. У нас на Урале...

Он нахваливал Урал, нахваливал Грузию, и грубейшие его приемы действовали. Жанна оттаяла. Ела она с аппетитом, видно было, что она проголодалась, и я представил путь, проделанный в Ленинград, хлопоты, очереди, вагонную качку, вагонный коричневый чай (именно представил поезд, а не самолет) – и все для того, чтобы встретиться со мной? Не могло этого быть.

Она вдруг стала доставать из сумки баночки, аккуратно закрытые. Баночка с ореховым вареньем – мне, баночка с инжировым вареньем – Колесникову, по связке чурчелы каждому, мешочек с печеньем, которое она сама пекла, – мне. Тащила и тащила из небольшой сумки, как фокусник. Я стал упираться, – да с какой стати, да зачем, да за что, да я сладкого не люблю.

Она с твердой ласковостью пояснила, что если я не люблю, то жена любит, дети любят, и вообще, нехорошо отказываться, таков обычай.

– Теперь я буду обязан, – сказал я. – Это похоже на взятку.

– Ха, разве взятки такие бывают? – сказала Жанна. – Вы нас обижаете.

Колесников даже заплодировал. Жанна сложила все подношения в приготовленные мешочки с видом Тбилиси. Один мешочек мне, другой – Колесникову, можно было подумать, что все у нее было предусмотрено, все заранее известно.

– Погодите, – сказал я. – Если этот гостинец предназначен источнику информации, то жив замкомполка по строевой части. Он знал всех офицеров. Он в Ленинграде. Давайте с ним созвонимся, я вам дам телефон.

Жанна помотала головой.

– Мне не источник информации нужен, мне нужны вы.

– Как это звучит! – воскликнул Колесников. – Все отдам за такую фразу!

Он преобразился. Присутствие интересной женщины воодушевило его, заставило забыть об уродствах планирования, проблемах экономики и прочих любимых его

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru темах. И я тоже подумал о том, как давно я не сидел с женщиной в ресторане, и, хотя «Ландыш» не был рестораном, все равно было хорошо. Хорошо, что не грохотал оркестр, хорошо, что Колесников разошелся и мне можно было помалкивать.

– Весь почет, вся слава и любовь достаются фронтовикам, – говорил Колесников. – Мы, которым было пятнадцать-шестнадцать, оказались в тени, нам достался только комплекс неполноценности. Теперь мне все время приходится объяснять, почему я не был на войне. Мы хватили голода, страха, насмотрелись ужасов и взамен ничего не получили. Я мальчиком работал на Челябинском, орудия собирал, только начал выдвигаться – вернулись фронтовики. И так всегда...

– Не завидуйте фронтовикам, – сказала Жанна. – Верно, Антон Максимович?

– Что за страсть оглядываться назад, – сказал я, – там нет никаких указателей, оттуда нет помощи.

– Скучный человек, не ценит вас. А вы слушаете его, а не меня. Потому что он фронтовик. Я понимаю, господа, я вам мешаю, Жанна, опровергните меня.

– Зачем опровергать, – сказала она. – Вы тонко чувствующий человек.

– Выставляете? Учись, Антон, как можно изящно выпроваживать людей. Но прежде я хочу выпить за женщин. Они выше нашего понимания. Логикой их не вскрыешь. Им лучше ввериться, идти за женщиной, как за охотничьей собакой, она тебя приведет.

Жанна прищурилась так, что Колесников смутился и выпил свою рюмку, не чокаясь.

После ухода Колесникова я налил себе полфужера шампанского и добавил коньяка. Этого должно было хватить.

При Колесникове все было проще и легче. К счастью, Жанна больше не спрашивала про Волкова. Она показывала мне письма и открытки Бориса. Их было много. Она могла составить целый сборник, книжицу типичных лейтенантских писем. Я сразу подумал о своих письмах той девице, забавно, если они у нее сохраняются, перетянутые такими же резинками от лекарств.

Первая открытка, написанная химическим карандашом, гласила:

«Привет с Ленинградского фронта! Здравствуйте, Жанна! Вы с удивлением возьмете эту открытку... Невольно подумаете, кто это написал. Объясню. Я увидел Вашу карточку у моего друга по борьбе с немецкими оккупантами Гогоберидзе Аполлона. Вы его хорошо знаете, и я не мог ее выпустить из рук. Не отрываясь я смотрел на Вас. Кровь закипала в жилах, смотря на Ваши прелестные черты...» – и дальше катилось в том же духе. Не мудрствуя лукаво, брал быка за рога: «Эта открытка является залогом к дружбе с тобой, Жанна, много писать нет необходимости, т.к. нет ясности в нашей связи».

Начал на «Вы», кончил на «ты».

Писарский, ровно бегущий, без запинки и помарки, почерк.

«Здравствуй, милая Жанна! Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта... В конце своего письма ты вскользь намекнула о воздушных поцелуях. Ты глубоко ошиблась. К сожалению, мне некому их посылать. Товарищей очень много, а друзья все моего пола. И если ты так холодно приняла мой скромный дар, то это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумный. Аполлон находится от меня в некотором отдалении. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа и фото».

– Зачем вы их хранили?

– Не знаю. Может, для сравнения.

– Сравнения?

– Вы читайте.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Кто это Аполлон?

– Гогоберидзе. Может, помните? Высокий красивый мальчик, с усиками. У него треугольник был. Или два? – Она помолчала. – Жених он был моей подруги. Мы троим там на фото. Нино, я и он.

– У вас есть эта фотография?

– Где-то была... – она стала перебирать бумаги. – Аполлон вскоре погиб. Его тяжело ранило в наступлении. В октябре сорок второго года. И он умер через три дня.

– В октябре сорок второго? Что за наступление? Наверное, в сентябре.

– Нет, в октябре. Это точно.

– Не могло этого быть.

– Вы сами сейчас прочтете. Мы получили официальную бумагу. – Она смотрела на меня с сожалением.

– Ладно, разберемся, – сказал я. Что-то тут было не так, но я не стал торопиться со своей правотой.

«Получил твое длинное письмо. Мне очень понравилось, как ты прямолинейно и действительно жизненно ответила на мои вопросы. Раз я могу надеяться, мы должны продолжать переписку и возможно лучше узнать внутренний мир друг друга. Правда, я не имею пока возможности писать подробно. Фотокарточку пришлю, как только снимусь, т.е. смогу отлучиться с передовой. Национальные отличия меня несколько не смущают, я сужу по Аполлону, с которым мы в оч.хор. отношениях. Я вообще не знаю, какую роль может играть национальность в любви. Аполлон сильно ранен, не знаю, куда его отправили и жив ли он. Пиши чаще, письма дают моральную поддержку».

У нас в роте были узбеки, двое, это я точно помню. Они говорили между собой по-своему. Поэтому я помню. А других национальностей не помню, мы тогда начисто не интересовались этим вопросом.

– Жаль, что нельзя прочитать ваши ответы, – сказал я.

– Они к делу не относятся.

– К какому делу?

– К моему.

Наталья принесла мне кофе.

– Вы мне морочите голову, – сказал я. – Так же, как морочили бедному Борису.

– Откуда вы знаете, что я морочила? Он вам рассказывал?

– Нет, об этом легко догадаться.

– Неизвестно, кто кому морочил. Разве вы не видите по его письмам? Он не вкладывал в них ни труда, ни трепета.

– Трепета? – это слово меня озадачило. Наверное, я никогда его не произносил. Интересно, был ли трепет в моих письмах. – А вы?

– А я... я считала, что помогаю фронту.

– Ничего себе помощь.

Взгляд ее похолодел и отстранил меня, отодвинул куда-то вниз так, что она могла смотреть свысока.

– К вашему сведению, я днем ходила в институт, а вечером работала в госпитале.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Кем же вы работали? – спросил я, еще не сдаваясь.

– Санитаркой.

– Тогда сдаюсь, – сказал я. – Санитаркам доставалось.

– Колесников прав, у вас фронтное чванство... Вот та фотография.

Две девочки в довоенных белых платьицах сидели на скамеечке у цветущего олеандра. Над ними навис мальчик, вытянутый, нескладный, какими бывают в отрочестве, когда не поспевают за своим ростом. Крохотные усики темнели под горбатым носом. У одной девушки коса была перекинута на грудь, другая – стриженная, с ровной челочкой, и смотрела она на меня с восторгом и смущением, будто слушала признание. Это была удачная фотография. Когда-то я занимался фотографией и знаю, что такой снимок – счастливая случайность, подстреленное влет мгновение. Всех троих объединяло что-то старомодное. То ли выражение лиц, то ли поза, не берусь определить, – что-то довоенное, присущее тем годам. Я давно заметил, каждое время накладывает свое выражение на лица. Дома, до войны, у нас висели портреты родителей отца. Я не знал их живыми, но любил смотреть на их нездешне-спокойные лица. Такие лица сохранились в картинных галереях.

Как бы там ни было, она привлекла внимание нашего старлея. С нынешней Жанной сходства оставалось немного. Фигура огрубела, лицо закрылось. Время увело далеко от той девочки, предназначенной для любви и счастья. Житейские огорчения, неудачи – что нарушило замыслы природы? Были у нее, конечно, и радости, и труд, и подарки судьбы, но сейчас, глядя на эту грузную властную женщину с тяжелым подбородком, бесстрастным, ловко раскрашенным лицом, умеющую скрывать свои чувства, думалось только о потерях. Бывает ли, что жизнь чем-то подправит давний проект судьбы? Вряд ли. Детеныш всегда хорош и мил; картина, задуманная художником, наверняка лучше той, что написана. Годы если что и подправят, то обязательно под общий манер...

Она хладнокровно позволяла сравнивать себя с девчонкой, той самой, что побудила старшего лейтенанта к столь пылким заходам. Она сидела, не скрывая своих морщин, набухших усталостью мешков под глазами. Можно было отплатить ей за усмешку, с какой она уставилась на меня в кабинете.

Она вдруг кивнула моим мыслям:

– Вы правы, – и во тьме ее глаз вспыхнул огонь, что горел в распахнутых глазах девочки на фотографии, на какой-то миг обнаружилось их несомненное родство. Конечно, время нельзя победить, но она не чувствовала поражения. Может, это самое главное в нашей безнадежной борьбе.

«Здравствуй, милая Жанна! Твою фотографию я поместил между плексигласовыми пластинками, чтобы не истрепать. Т.к. я часто смотрю, она мое утешение. А настроение неважное. Аполлон умер. Он пал смертью храбрых вместе с теми, кто погиб в нашей наступлении. Он участвовал в уничтожении фашистской группировки. Мы держим оборону, несмотря на все усилия противника. Фотокарточку пока выслать не могу, сама понимаешь почему. Я пока жив и вполне здоров; очевидно, судьба улыбается и хочет, чтобы мы с тобой встретились. Она хочет, чтобы я взял тебя в объятия и прижал к груди. Смысл нашей переписки должен быть не пустой тратой времени и флиртом двух представителей молодежи, а искренним чувством, которое обязательно превратится в прямую идеальную любовь. Пиши чаще, не забудь Бориса, если хочешь быть с ним!»

Я посмотрел на фотографию, на тоненького мальчика в парке, наверняка я знал Аполлона, но внутри ничего не отозвалось. Только ошибка в письме Бориса кое-что напомнила, об этом я не стал говорить.

Борис и впрямь строчил не раздумывая. Временами я еле удерживался от смеха. Письма тоже изменились: легкость Лукина читалась пошлостью, уверенность его стала глуповатой.

– Там еще есть где про меня?

– Есть, есть.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
По каким-то своим пометкам она быстро нашла письмо с подчеркнутыми строками:
«...прочитал нашему Тохе там, где ты опровергаешь его рассуждения о любви. Он, конечно, стоит насмерть, но просил передать, что стихи ему понравились. Между нами, он сам стал переписываться с одной москвичкой. Она быстро вправит мозги этому бычку».

– Какие стихи? – спросил я.

Жанна не помнила. Мы оба всматривались в мглу, я никак не мог оживить эту сцену – где Борис мне читал, как это было, – ведь, значит, мы спорили, я о чем-то думал, куда ж это все подевалось, где искать следы? Но все равно – выходит, мы с Жанной давно знали друг друга.

– Вот видите, – сказал я, – даже вас подводит память.

– Так это мелочь, эпизод, – сразу ответила она. – Если вы вспомнили Лукина, то Волкова тем более. Я приехала к вам из-за него.

– А что с ним?

– Нет смысла рассказывать, пока вы не вспомните.

– Кто он был по должности?

– Понятия не имею.

– Вот видите.

– Он инженер.

– Это на гражданке.

Она протянула мне большую фотографию. Неохота мне было смотреть на этот снимок. Она следила за мной. Вряд ли по моему лицу можно было что-либо прочесть. Давно уже я научился владеть им. При любых обстоятельствах. Безо всякого выражения я мог смотреть и на этот портрет и пожимать плечами.

Логика ее была проста: раз я вспомнил по карточке Лукина, то должен вспомнить и Волкова, они служили вместе, это ей точно известно, – следовательно, я знаю Волкова.

– Может, и знал. Разве всех упомнишь. Столько лет прошло. Кто вам Волков?

– Никто.

– Никто, вот и хорошо, – сказал я, взгляды наши столкнулись, словно ударились. Я поспешил улыбнуться. – Тогда невелика потеря.

Она чуть вздрогнула, пригнулась. Мне стало жаль ее.

– Жанна, я не знаю, зачем вам это нужно, – как можно безразличнее начал я, – и не хочу вникать. Не ворошите. Не настаивайте. Поверьте мне. Как сказал один мудрец, – не надо будить демонов прошлого.

Она смотрела исподлобья, подозрительно.

– Вы-то чего боитесь? Только не уверяйте, что вы из-за меня. Я на вас надеялась. Бесстрашный лейтенант, вояка. А вы... Открещиваетесь. Неужели вы так напугались...

– Не стоит. На меня это не действует. Я о себе думаю хуже, чем вы.

– Вот уж не ждала. Если вы знали его, то как вы можете... Как вам не стыдно.

Злость сделала ее старой и некрасивой. Она была не из тех женщин, что плачут. Губы ее скривились.

– Впрочем, глупо и унижительно просить об этом.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Она допила кофе, вынула зеркала, принялась восстанавливать краски. Она проделывала это без стеснения, – один карандаш, другой карандаш, – и снова она была прекрасно-угрюмой, с диковато-чувственным лицом. Я ждал, что она скажет. Если она хотя бы улыбнулась мне, спросила меня – ну а вы-то, Тоха, как вы поживаете? Что-нибудь в этом роде. Но я не существовал, я был всего лишь источник информации, который оказался несостоятельным. Поставщик нужных сведений, только для этого я и требовался всем – уточнить, найти резервы, подсказать, кому сколько, составить график. Никто не виноват в том, что я сам куда-то подевался. Пока я спорил, предлагал какие-то решения, пока не соглашался, я существовал... Ныне считается, что если я хожу на работу, то со мною ничего не происходит. Жена моя была единственным человеком, которого интересовало – как я, что со мною. После ее смерти уже никто не спрашивает, что со мною творится.

Аккуратно завязав папку, Жанна уложила ее в сумку.

– Здесь что, одни письма Лукина? – спросил я.

– Его и Волкова, – ответила она устало.

Я рассчитался, мы вышли на улицу, Жанне надо было на метро, я провожал ее через парк. В воздухе густо и беззвучно летал тополиный пух.

– Что ж вы, так и уедете?

– Посмотрим, – сказала она с неясным смешком.

Мы почти дошли до метро, когда я неожиданно для себя попросил ее дать мне эту папку до завтрашнего дня. Почитать. Может, что-то вспомнится.

Она посмотрела на меня задумчиво и безразлично, как смотрят на часы, проверяя себя, и нисколько не удивилась.

– Конечно, берите. Если что – позвоните, там записка с моим гостиничным телефоном, – преспокойно сообщила она.

– А как вам вернуть?..

– Завтра в двенадцать часов подъезжайте к Манежу, вам удобно?

Я несколько растерялся: похоже, что у нее все было предусмотрено. Полагалось бы пригласить ее в свой дом, но когда я заикнулся об этом, она сказала:

– Лучше, если вы завтра поведете меня по городу. Я хотела кое-что посмотреть.

Она отдала мне папку, распрощалась, не благодаря, не радуясь, как-то отрешенно, и скрылась в метро.

2

Почти год дощатый мой домик простоял на замке. В комнате накопилась тьма и сырость. Я открыл ставни, затопил печь. На столе стояла чернильница и открытая баночка с карамелью. Откуда здесь эта карамель? Я не люблю карамель. Но, кроме меня, никто не мог сюда зайти. Я не приезжал на свой садовый участок с прошлой осени. И зимой не был. На подоконнике лежала дощечка с красным кружком, нарисованным масляной краской. Опять я ничего не мог вспомнить. Конечно, я сам рисовал этот кружок, но зачем? Кочергу пришлось поискать. На стуле висела моя синяя фланелевая куртка. Я совсем забыл о ней. В шкафу увидел справочник машиностроителя, мне его не хватало всю зиму. Вот он где, оказывается. Я прошел на кухню, привыкая вновь к своим вещам. Одни возвращались быстро, другие не сразу, а были такие, что не признавались мне, вроде этой дощечки. И карамель тоже не вспомнилась.

На участке висел умывальник. Я поднял крышку. Внутри было сухо, лежала хвоя и какие-то личинки. Ворот колодца пронзительно скрипнул. Я вытянул ведро, налил в умывальник, взял синий обмылок, пересохший, треснувший.

Крыльцо скосилось, доски подгнили, все собирался менять их, да так и не сменял. И желоб под умывальник проложить. Наверное, и в этом году не сделаю. Я уже прошел тот возраст, когда утром кажется, что за день все успеешь – и то, что не успел вчера, и еще столько же.

Я обошел участок. От выгребной ямы тянуло вонищей. Когда-то я хотел ее отделить туйей, заборчик такой живой насадить.

Все на участке одичало, заросло. Грядки расползлись. Хотел еще посадить клены, серебристые елки, но посадил только два куста сирени. Сирень разрослась. Смотреть на нее было неохота, она напоминала о несделанном, лучше бы не было этих кустов.

В доме потеплело. Я выложил на стол оранжевую папку, пошарил в шкафу, нашел банку сгущенки, сварил себе кофе, но вместо того, чтобы приняться за письма, лег на диван. Там лежала книжка про Вселенную. Я стал ее читать, и оказалось, что когда-то я ее уже читал. Вспомнил по рисункам. Не много нам остается от прошлого. Каким я был год назад, когда лежал на этом диване и читал эту книжку? И зачем-то уехал, и что-то было с карамельками. Приходила сюда женщина, с которой было так хорошо, и вот расстались. Все это теперь забылось, стало непонятным. Непонятно, почему надо было расстаться. А если бы я убрал карамельки, выбросил их, то и этого я бы не вспомнил, и сидел бы тут, как будто ничего и не было.

Письма Бориса были пронумерованы, сложены в стопки, стопки перетянуты резинками, писем много. В сорок втором, сорок третьем годах переписка с Жанной шла энергично. Он отвечал, как правило, немедленно, слал много кратких открыток, неизменно пылких и напористых. Его энергия удивляла. За первую блокадную зиму мы так отощали и наголодались, что никакой мужской силы не осталось в наших слабых телах. Хватало лишь воли исполнять самое необходимое – стрелять, проверять посты, помогать чистить окопы от снега. В апреле к нам приехали шефы из Ленинграда, работницы швейной фабрики. После ужина, разморенные сытостью от пшеничного концентрата, сладкого чая с огромными флотскими сухарями, женщины уснули в наших землянках. Они раскинулись, нежно посапывая на наших нарах, покрытых коричневым бархатом. Мы сидели у печки, умиленные своей бережностью. Никто не пытался их притиснуть, подвалиться к ним. Мысль такая не возникла. Правда, и манков у них не осталось. Груды, например, начисто исчезли. Разумеется, бабье все сохранилось, а вот не влекло. Не было желания, никаких желаний, кроме как подхарчиться и в баню сходить. Много месяцев нам не снилось снов томящих, разговоров про баб не было.. Откуда у Бориса брались пыл, страсть? Сыпал ей стихами, долго не выбирая, брал из песен:

я пришел немножечко усталый,
И на лбу морщинка залегла.
Ты меня так долго ожидала,
Много слов горячих сберегла.

Все больше о встрече в тот великий день, после Победы. Встреча и Победа у него соединялись в одно прекрасное Однажды. Судя по письмам, при встрече должно было произойти нечто неслыханное. Вначале, конечно, – прижать к груди и сказать: «Ты моя!» После этого мир озарялся огнями, играли оркестры, пели соловьи, расстился зеленый шелк лугов, солнце не уходило за горизонт. Они без конца целовались. Не могли наглядеться. Стояли, взявшись за руки, и в то же время лежали на высокой кровати.

Из месяца в месяц Борис не уставал расписывать радость Встречи. Он не замечал, что повторяется и становится однообразным. Потом в тоне его восторгов появилась некоторая озабоченность. Она нарастала. Если бы что-то его смущало в письмах Жанны, он бы спорил, цитировал какие-то фразы. Нет, беспокоило нечто другое, но что именно, я не мог понять. Зачем-то Борис требовал от нее все новых обещаний. Добивался заверений в верности, хотел заручиться: что меня ждет, когда я приеду к тебе? Хочешь ли ты быть моей? Он требовал определенности, требовал гарантий, настойчиво, подозрительно. Удивляла его расчетливость, вроде он не такой был. Вытащил меня с нейтралки, когда я закоченел, двигаться не мог, – рискнул, хотя не был обязан. На передке, правда, осторожничал, не стыдился ползать в мелком окопе, зря не подставлялся.. Чего ради он так добивался заверений, как будто они обеспечивают любовь? В ответ на расспросы Жанны он написал о Волкове, впервые

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru упомянул его:

«Да, я его знаю, короткое время я жил с ним в одной землянке. Адрес твой он взял у Аполлона. Вина моя. Видишь ли, я не удержался, рассказывал о тебе, показывал твою карточку, прочел отрывки из твоих писем. Поделился в минуту откровенности. Не знаю, что он тебе написал, но ведет он разговоры о женщинах не в моем вкусе. Воззрения его на жизнь не по мне. Я человек прямой и ценю откровенность, а не подходы. Что мне нужно, пишу прямо, интимными церемониями не занимаюсь, паутину не раскидываю. Длинные письма, Жанна, я не пишу, я предпочитаю писать короткую правду, чем длинную ложь. Вывод сделай сама».

Собственно, с этого началась та житейская история, что росла по извечным законам любви и ревности среди посвиста пуль и осколков, между боями местного значения, проходами в спиралях Бруно и минными полями, под гулом бомбардировщиков, летящих на Ленинград.

В следующий раз о Волкове он написал злее. Хотя, на мой взгляд, сдержанно, мог бы выставить его похуже... Но тут я обратил внимание на записку, приколотую к письму. Свеженько-белый листок, на нем знакомым сочно-красным фломастером написано: «Прошу Вас, читайте по очереди письма Волкова и Лукина, так, как я их получала. Ж.».

Будто угадала, что я предпочитал Борины письма, что в письма Волкова я не собирался заглядывать. Выходит, все у нее было предусмотрено – и то, что буду читать переписку, и что папка окажется у меня, и надо подсказать. Я вспомнил, как она преспокойно передала мне папку, словно зная, что в конце концов я сам попрошу. Не очень-то приятно, когда твои действия просматриваются наперед, оказываешься примитивным устройством, заводная игрушка – зеленая лягушка.

Волковских писем было много – три увесистые пачки. Пронумерованы, разложены по порядку, с тем, однако, отличием, что письма его истерты на сгибах, помяты, – их, следовательно, перечитывали, носили в сумочке, в кармане. Я разложил на столе нечто вроде пасьянса: письмо, открытка, конверт зелененький, серенький. Аккуратно-печатный почерк, каждое слово вырисовано. Ох, как не хотелось мне братья за них. Не мог заставить себя. Встал, вышел на крыльцо.

Вечерний птичий гам бушевал, стрекотал, заливался в пахучей зеленой теплыни. Вот где распахивалась жизнь. От заброшенности, неухоженности участка жизнь выигрывала, прибывала. Всюду громоздились кротовые грудки вывороченной земли. Дорожки заросли, захваченные повиликой, диким горошком. Я смотрел в небо, которого нет в городе, стараясь войти в покой этого вечера. Птицы не занимаются воспоминаниями, думал я, они поют, переговариваются, поглощенные счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь настоящее и будущую зиму.

Эти мудрые мысли меня тешили, но не помогали. Я все больше погружался в прошлое, как в трясины. Чугунное лицо Волкова, оживленное фотографией, приблизилось вплотную. Обритая наголо, круглая шишковатая голова напоминала бюсты римских императоров из черного мрамора, что стояли в Камероновой галерее. Пули цокали по ним, не оставляя следов. Голос его тоже звучал чугунно-звонко: «Читать чужие письма, лейтенант Дударев, это подлость!» Слово «подлость» звучало невыносимо, как «подлец!». И все сработало автоматически, я размахнулся дать ему по морде, но он перехватил мою руку, вывернул так, что я вскрикнул от боли, Волков был куда сильнее меня, но то, что я вскрикнул, было унижительнее, чем его слова.

После бомбежки я нашел у развороченной землянки листки. Не сообразив, чья это землянка, я поднял их и стал читать, сперва про себя, потом вслух, потешаясь над чьей-то любовной дребеденью. Это была разрядка, и все обрадовались возможности похотать, когда подошел Волков. Моя шутка обернулась серьезным скандалом. Я кинулся на него с кулаками, он отшвырнул меня – все это в присутствии бойцов! Я схватился за револьвер. Меня оттащили. С этого дня я возненавидел Волкова. Потом было всякое, на передовой друг без друга не обойдешься, но обида засела во мне прочно.

Какие каверзы подстраивает жизнь! Зачем понадобилось через столько лет опять подсунуть его письма?

Я вернулся в комнату, оставил дверь открытой в сад, в неутраченный птичий шум, шорох молодых листьев. Я сел за стол. Что в них, в этих волковских письмах? Во

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru мне все напряглось, как в детстве: сейчас меня обнаружат, поймают, уличат... Кроме той несостоявшейся драки, было потом куда более серьезное. Не за этим ли пожаловала ко мне Жанна? Потребовать ответа? Все же существует, значит, закон возмездия. Давно уже занимало меня действие его. Он то подтверждался, то нарушался, но я считал, что это не нарушение, а незнание мое. Потому что действие его могло быть скрытым, неизвестным мне. Рано или поздно зло должно наказываться. Не всегда виновнику, – может воздаться детям его, потомству. Какое-то равновесие природа должна восстановить. Если справедливость не сумеет восторжествовать, тогда она зачухнет, тогда человеку не на что надеяться. От школьных лет остался у меня невнятным эпиграф к «Анне Карениной» – «Мне отмщение, и аз воздам». Что он означает? Кроме божественного, уловлен ли тут закон, по которому творится суд над нами?..

Первое письмо было про то, как Волкова поразила фотография Жанны. «Как выстрел в упор из ракетницы». Фотографию Борис выпросил у Аполлона и повесил ее над нами. (А про выстрел я вспомнил – был у нас случай: кто-то в землянке выстрелил из ракетницы, действительно ослепнуть можно.) Увидел Волков карточку, Борис ему прочел кусок из письма, и образовалось впечатление сильное – «беззащитностью Вашей, опасно соединенной с отзывчивостью и умением чувствовать тонкости, нам недоступные». Читать было неловко, какие он кренделя завивал: «Теперь стоит мне закрыть глаза, появляется Ваше лицо. Я изучал каждую его черточку. Глаза, уши, подбородок. Вижу милую расслабленность губ, восторг жизни в глазах. Я убеждал себя, что навоображал, но теперь знаю, что Вы существо необычное...»

Строчки эти неприятно резанули меня. Напыщенные выражения каким-то образом совпадали с моим собственным впечатлением.

Жанна ответила. Она охотно отвечала тому и другому. Переписка пошла параллельно, у Бориса своя, у Волкова своя. Разница состояла в том, что Волков скрывал свою.

От чтения их писем попеременно чувствовалось, как нарастало соперничество. Поначалу преимущество имел Борис. Бурные его признания подействовали. За ним было первенство, он имел фору. Кроме того, Волков явно переборщил. Ответ ему, очевидно, пришел суховато-ироничный. Я сужу по тому, как он сменил стиль своих писем. Отшутился – полагал, что сумеет воспеть ее по-восточному, в духе Руставели. «С чужого голоса не пой, свой сорвешь». И дальше без выкрутас, иронично принялся рассказывать о себе. О чувствах ни звука, о фронтовых наших перипетиях общими словами отделялся, как и Борис. Неторопливо разглядывал прожитые годы как бы издали. Письма его, признаюсь сразу, – читались. Дело заключалось не в литературности, я не большой охотник до беллетристики, – он заинтересовал меня своей судьбой. Обстоятельно и содержательно излагал он историю своей жизненной борьбы. Он был старше нас всех. Намного. Лет на пятнадцать. Совсем из другого поколения. Хотя по виду такой разницы не чувствовалось. Голодуха всех подравняла. В тесных задымленных наших землянках, в окопной зиме, закутанные, промерзлые, измученные снежными заносами, ночными тревогами, нехваткой патронов, мин, потерями от ран, от голодного довольствия, мы возрастов не различали. Тем более что Волков выделялся силой. В феврале, в самое голодное время, он в одиночку тащил ящик с противопехотными минами. Судя по некоторым фактам жизнеописания, было ему лет тридцать пять. Он описывал тот слой жизни, который мне был неведом, как бы в промежутке между моим отцом и мною. В письмах его, конечно, различался умысел. Ему хотелось заинтересовать Жанну своей особой. Я раскусил это сразу, но Жанна, казалось, не замечала, ее смущала рассудительная манера изложения, анализ своей жизни, который производил Волков, вроде бы специально ради нее.

Он выдерживал свою линию:

«Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я другие не умею? У вас просквозил намек, будто я щеголяю. Давайте условимся, что мое умничание – средство от моего непомерного аппетита. С помощью писем к Вам я усмиряю муки пустого желудка. Так что отнесите все излишества за счет желудка. Есть и другое соображение. Игривость – вещь легкая. Бойкость, нахальство всегда выигрывают. Здесь меня тоже попрекают умником. И начальству не нравится. В самом деле, – почему я такой? Не знаю. Пробовал прикинуться чушкой – выходит фальшиво. Уж лучше оставаться каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было 12 лет, весь наш класс отправился в кино, и я захотел. Нужно было двадцать копеек. Я спросил у отца. Он сказал: заработай, а у меня не спрашивай.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего всерьез я воспринял слова отца. Наверное, слишком. Он у меня был весовщик, мать прачка. У отца образование четыре сельских класса, мать неграмотная, и они признавали жизнь в труде, а не в образовании. Так как в кино я ходить хотел, то стал работать подручным у монтера. В 1920 году был голод и я попал в колонию».

А мы числили его чуть ли не профессорским сыном. Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.

«...Мы аккуратно обследовали помойки, куда из столовых выбрасывали головки от вобл. Воровали из кладовых продукты. Взламывали замок либо окно, мальчикам хватало щелки. Тащили сухари, сахар, прятали на кладбище Александро-Невской лавры. Днем делились, вечером шла на промысел другая тройка. Но все же я нашел в себе силы продолжать учиться, стал монтером. В последних классах я самостоятельно брал подряды на проводку освещения и зарабатывал деньги. Мои однокашники казались мне детьми».

Я вдруг вспомнил, как в школьные годы мы с приятелем зарабатывали починкой электрических звонков. Он снимал испорченные и устанавливал починенные, а я зачищал контакты прерывателя, заросшие мохнатой пылью, менял катушечки. Надоело у матери попрошайничать, и мы с охотой работали. Дети любят работать. Но мне было лет четырнадцать. И время другое.

В другом письме Волков рассказывал, как его потянуло к музыке. Тайком от отца он стал брать уроки «фортепианной игры» у одной старушки. Потом это открылось, произошел скандал. Были годы нэпа, была безработица... Я привык, что то время изображалось в кинофильмах только как время нэпманов, бандитов, ресторанных разгулов, частной торговли. Нэповские времена казались более древними и темными, чем дореволюционные годы, о которых я знал по книжкам. От той скоротечной поры ничего не осталось. Ни обычаев, ни мемуаров, ни памятников, ни героев. Нэп как бы отпал, начисто отрубленный, только песенки, что напевала мать, какие-то романсы, мелодии без нот и пластинок – колыхание воздуха.

Волков брался за все, ловчил, чтобы устроиться в той непростой жизни. Окончил какие-то курсы Доброхима, стал читать лекции. Что за лекции мог читать пятнадцатилетний парень – не представляю. Зарабатывал деньги на чем придется, не гнушался никакой работой, не было тогда работы «непрестижной».

«Химию я любил? Любил. Травил крыс в кооперативных и частных лавках. Научился. Стал авторитетным крысомором. Нанялся каменщиком – бил камни для мостовой, сидел на дороге, обмотавши колени портянками, между ног камень. По вечерам чертил диаграммы для лекторов. Опять деньги! Музыку я любил? Любил! Слух есть? Есть! У соседки был рояль, я по слуху разучил танцы того времени – падеспань, миньон, падекатр, шимми, вальсы, фоксы, несколько ходовых песенок:

Смотрите, граждане, какой я элегантный!
Какой пи-пи, какой ка-ка, какой пикантный!

Стал тапером на вечеринках, на танцульках. Деньги, плюс к этому – накормят. Я пить не пил, ни одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную таперскую специальность, уж больно приставали. А то бы так и остался бренчалкой».

Действительно, Волков не пил. Единственный из офицеров полка, кто отказывался принимать положенные зимой сто граммов водки. Демонстративно отказывался. Его пробовали высмеивать – он принципы выставил. Мол, во время первой мировой войны русские солдаты сражались без всякой водки. И хорошо воевали. Водка не помощник, и так далее. Был в этом как бы упрек нам. Многие возмутились – не чересчур ли берете на себя, товарищ лейтенант, приказ главкома не по вкусу? Предлагали ему выменять свою водку на табак, на шпроты, в конце концов не хочешь пить – отдай желающим. Найдутся. Ни в какую, уперся в принцип. Хорошо, что комиссар, мудрый мужик, перевел проблему на калории: в наших блокадных условиях водка – хлебово, дополнительное питание; слава этому замечательному приказу...

Из таперов ушел в дворники, поливал улицу из кишки.

Из дворников – на курсы слесарей при Институте труда, оттуда – на курсы чертежников. Устроился чертежником на завод. Сокращение. Опять взяли

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
чертежником...

Он срывался, падал, снова карабкался и опять оступался, соблазненный лазейкой быстрого успеха или сомнительным заработком. Его мотало то к большим деньгам, то к стоящей специальности. Получая удары, теряя, ошибаясь, он ни на минуту не предавался унынию. Жизнецепкость, упорство этого питерского паренька свидетельствовали о сильном характере. Путь его был не прям и этим был мне симпатичен, он никак не совмещался с прямолинейно-четким Волковым, которого я знал.

Его путали собственные способности. Плюс его самомнение. Это был бурлящий характер тех двадцатых годов, когда ажиотаж наживы сменялся трубным зовом эпохи – учиться, учиться!

Все это можно было вычитать из его писем. О таком Волкове я не подозревал. Кажется, я понимал, зачем он писал о себе. Не из самомнения. В самом деле, о чем еще он мог писать? Описывать фронтовые будни? Не принято, не положено, да и не было в этом своего. О своих чувствах – ни за что. А вот о себе, про себя, – тут ему самому было интересно поразмышлять.

Тот Волков, который возникал из писем, мог привлечь внимание, во всяком случае, заинтересовать своей судьбой. Будь они оба перед Жанной въеве, Волков бы сразу проиграл, ему помогала заочность. Я ревниво следил, как упорно он вел осаду, при этом писал, что ни на что не надеется, их отношения платонические и тому подобное. Конечно, я был необъективен. Я знал того Волкова, фронтового, и не знал этого, с его прошлым, с его влюбленностью в Жанну. Какой из них был настоящим? Вернее всего, что оба, но я никак не мог соединить их. Меня устраивал Волков, которого я не любил.

Жанна сомневалась в своей красоте. Волков горячо доказывал, как она красива, разбирая овал ее лица, описывая ее губы, шею, показывая классические пропорции. Конечно, это пленяло Жанну. Но я-то видел в этом прием и жалел доверчивую девушку. Я выискивал хитрости, уловки, способы обольщения и в то же время понимал, что Волков от стеснительности пускается в отвлеченные поучения, деликатно избегает прямых признаний, он страшится говорить о своих чувствах, боясь показаться смешным. Больше всего он боялся смеха над собой. Лишь бы не вызвать усмешки. Но и он все искал, как бы дать знать о своих чувствах.

«У нас с Вами, Жанна, одинаковые установки. Вы малым не хотите удовлетвориться. Мне полюбились Ваши слова. Я тоже всегда хотел самого большого для себя».

Наконец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову.

Письмо Бориса имело ту же дату. Сидя в соседних землянках, они писали свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел, темно, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались, ложку кулаком держишь, не то чтоб писать. Землянки у нас были низкие. Борису приходилось голову пригибать. Низко, тесно, а уютно. С наряда да с усталости завалиться на нары. Кто-то сидит, чинит гимнастерку, кто-то автомат смазывает. Малиново-бархатно светятся раскаленные бока печки. Кресло колченогое, которое притащили из разбитой церкви. И стоит оно, между прочим, на дощатом полу. Был у меня в одной из землянок дощатый пол. Запомнился! Да еще топор лежит в головах, чтоб не сперли. Топор – драгоценнейшая вещь в окопной зимовке.

«Добрый день, милая Жанна! Получил твое письмо и две фотокарточки. Радости не было границ. Честно говоря, я думал, что вряд ли получу от тебя (будем на ты называть друг друга, кажется, есть у Пушкина „сердечное ты, пустое вы“, так, Жанна?) что-либо подобное. Я надеюсь, что ты сердиться не будешь за то, что я назвал тебя милой – иначе не могу. „Любовь твоя запала в сердце глубоко“. Настроение прекрасное, хочется жить, бороться и приблизить час, в который мы с тобой, Жанна, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит: что меня ждет, если когда-либо я приеду прямо к тебе? Стоит ли мне думать о нашем будущем. Мы с Аполлоном были в Ленинграде. Смотрели „Три мушкетера“ А. Дюма, надеюсь, ты его читала».

Тут Борис промашку дал, обращается как с девочкой, снисходительно. Волков себе

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru этого не позволял, он писал в полную силу уважения, может нарочно преувеличивал, и наверняка Жанне это льстило. Прервав свою биографию, он разобрал биографии великих людей, которые служили ему примером. Один из любимых был у него Эдисон. Тоже рабочий паренек, без всякого образования, взмыл исключительно за счет таланта плюс коммерческая хватка. Насчет таланта Волков не беспокоился, он думать не хотел, что ему отпущено меньше, чем другим. Эдисон имел к двадцати годам три изобретения, Волкову семнадцать, у него к двадцати годам будет не три, а пять изобретений! Не в тщеславии была беда, тщеславие чисто мальчишеское, – беда в том, что он всерьез, без шуток относился к своему соревнованию с Эдисоном. Высокое мнение о себе осталось у него и на фронте. Много можно было припомнить, но это было бы несправедливо, потому что нечто подобное происходило в семнадцать лет и со мною. Я ведь тоже увлекался Эдисоном. Папанин, Графтио, Чкалов были в этом списке, и был Эдисон, который спал пять часов в сутки и, за какую бы задачу ни брался, все у него получалось... Совпадение наших привязанностей вносило путаницу в мои чувства.

Прочитав в журнале «Наука и техника» о почтовой связи между Парижем и Лондоном, Волков взялся совершенствовать ее и разработал устройство «для приема световых сигналов с летящего самолета». Наверняка туфта, наплел, но Волков привел в письме номер патента – 4467, сообщил, что вышло отдельной брошюрой в издании Комитета по делам изобретений при СНК СССР. И о следующих изобретениях тоже сообщал номера – по памяти, что ли? Стоило мне усомниться, он сразу давал ссылку. Мог и в этом мухлевать, но я чувствовал, что не врет, все точно. В 1927 году опубликовал в таком-то номере такого-то журнала статью об изобретателях-самоучках. Успех воодушевил его, он принялся выступать по радио. К тому времени он устроился на должность конструктора. Изобретателей, имеющих патенты, биржа труда обязана была направлять на работу вне очереди. Действовало такое правило. Он мог выбирать, и выбрал завод, где больше платили. У него на иждивении были мать и племянник, отца которого зарубили колчаковцы. Про деньги описывал, как пытался тратить их с шиком – после танцев отвозил девиц на извозчике и одаривал кулками конфет. Публикация в журнале вскружила ему голову, он решил стать писателем. Все могу! Его приняли в литературный кружок при журнале «Резец», самое лучшее, как он подчеркнул, объединение молодых писателей города. И музыку он стал сочинять – в 1929 году исполнил на радиостудии собственную композицию «Наводнение в Ленинграде». По поводу пятилетия наводнения 1924 года. Отмечались и такие события. «Средним писателем я бы мог стать. Я в этом убедился. Модным, успевающим, наподобие Пантелеймона Романова или Льва Гумилевского. Но ничего среднего я не принимаю. Кому нужен средний писатель?»

И Волков поступил в Технологический институт. Вечерами он зарабатывал на чертежах, по выходным посещал университет культуры, утром, до занятий, бежал на стадион. Он хотел всего сразу, всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил двадцать восемь экскурсий в Эрмитаж. Столько же по городу, изучая петербургскую архитектуру. Ему надо было отличать барокко от ампира, понять гениальность Тициана, научиться слушать Бетховена и не скучать, глядя на стоящего спиной дирижера. Быть не хуже меломанов, которые свободно обсуждают, кто как исполняет. Знать про Платона и Сенеку. И чтоб не захлебнуться в этом потоке. Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что инженер для него означал высшую категорию людей. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Орион, и историю Исаакиевского собора.

Совершить двадцать восемь экскурсий по Эрмитажу представлялось мне невероятным. Двадцать восемь – это уже не любознательность. И не изучение. Это скорее времяпрепровождение. Так ходят на прогулки дышать свежим воздухом, ходят на природу, ходят к друзьям, но чтобы в музей? Все-таки что-то было в этом Волкове, и эта грузинская девочка за тысячи километров уловила, учуяла.

В 1937 году он получил диплом. Его послали работать мастером, потом выдвинули начальником цеха, оттуда – руководить конструкторским бюро. Подвигался он быстро, еще немного – и достиг бы большего, но началась война, и он попросился в народное ополчение...

За окном прогудела машина, хлопнула дверца, заскрипело крыльцо, в комнату вбежала дочь, за ней вошел ее муж. Они заехали за мной по дороге, как было договорено, поскольку я думал к этому времени освободиться. Дочь чмокнула меня в скулу, под самым глазом, – место, куда она целовала меня школьницей, и на секунду так же привычно прижалась, ожидая, когда я поглажу, поворошу ее затылок.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru я увидел у нее седые волосы. Их было совсем немного, скорее всего она еще не различала их, – три, четыре, их легко было выдернуть. Я чуть коснулся губами ее темечка, она вопросительно посмотрела мне в глаза.

– Тут такое дело, придется мне задержаться, – сказал я. – Надо к завтраму прочесть.

Она скользнула взглядом по письмам, разложенным на столе, и ничего не спросила, как будто это были деловые бумаги. Тогда я сказал:

– Любопытная тут фронтовая история... – И я рассказал в двух словах что к чему, и стал читать им из письма Волкова, где было про фронт и хоть немного про наше бытие.

Письмо он писал в газогенераторной машине. Были такие. Вместо бензина – сухие чурки.

На бункере стоит моя походная чернильница из аптечной склянки. Кругом лес и болото. Вчера был случайно в Ленинграде, открылось несколько книжных магазинов, я их обошел, купил для Вас открытки с видами города. Женщины чистят город, видно стало на весеннем солнышке, какие они слабые. Голод унижает человека. Но сейчас, когда они вылезли из своих замороженных нор, когда они вместе и стараются очистить улицы, они уже не боятся обстрела. Это очень странно, они так рады солнцу, что при обстреле неохотно уходят из проезжей части в тень подъездов и подворотен. А я все ищу Вам какой-нибудь подарок. Но ничего в Ленинграде нет. Найти бы какую-нибудь вещь, которая сохранила бы память обо мне, ведь в любую минуту меня может не стать...»

Голос мой упал, перешел на скороговорку, я чувствовал, что им все это неинтересно. Это была не их эпоха. Те подробности, которые меня так волновали, нагоняли на них тоску. Моя война существовала для домашних контуженым бедром, которое время от времени приходилось растирать. Шрамом на плече, – когда-то дочери гордились им. Рассказы о моей войне их перестали интересовать, – сколько можно? Но им нравилось, когда я надевал ордена. И в то же время они считали, что меня обошли, я недотепа, не пользуюсь своими заслугами, позволил задвинуть себя до руководителя группы с зарплатой сто девяносто рэ.

Зять слушал, опираясь на дверной косяк. Бледно-розовый, рыхлый, скучающий, он был так похож на первого ее мужа, что я не понимал, какой смысл был их менять. Оба они строчили диссертации, оба оценивали свой успех должностью и степенью. И чужой успех так же. Они скучливо доказывали мне, что это – показатель объективный и всеобщий: майор стремится стать подполковником, полковник – генералом, кандидат – доктором, доктор – член-коррором. Маленькая должность показывает ценность человека, неспособность подниматься по служебному косоугору. Жажда восхождения движет прогрессом. Им нравилось восходить, взбираться. Понижение у них означало неудачу, все равно что сорваться с кручи.

Я читал из упрямства. Они переглянулись. Дочь успокаивающе кивнула мужу, – может, она надеялась на какой-то поворот, – я чувствовал, ей неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова, мы были с ним сейчас заодно. Дочь отошла к окну, модные туфли на платформе – так они назывались – делали ее выше и тоньше.

– Мы оставили в коридоре мешок с бутылками, – сказал зять, как только я кончил.

– Ладно, – сказал я. – Поезжайте.

Она еще раз поцеловала меня и шепнула:

– Не расстраивайся.

Я вернулся к сообщениям Бориса про смерть Аполлона. «С Аполлоном мы в оч. хор. отношениях... рана его оказалась сильной, не знаю, куда его отправили и жив ли он». При чем тут хорошие отношения? Может, отвечал Жанне на какой-то вопрос? Следующая открытка серо-зеленая, шинельного цвета, с напечатанным на ней призывом: «Воин Красной Армии! Бей врага, не зная страха!» В открытке было про смерть Аполлона. То, что читала мне Жанна. Первая открытка о ранении написана 18 сентября. «Наступление» мы проводили 6 октября. Это я знаю точно, потому что меня в том бою контузило. Мы захватили насыпь железной дороги, выпрямили линию

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru обороны и оказались над противником. Я отлеживался несколько дней в нашем медсанбате, пока не перестало тошнить. Легкое ранение мне все же приписали. У нас было много потерь. Семена Левашова убило. Комсорга нашего тоже.

Вот к этой операции Борис, очевидно, и приплюсовал смерть Аполлона. Потому что, возможно, она была случайной, бестолковой, и нам тогда казалось, что такая смерть огорчительней, чем смерть в бою. Меня очень мучил, прямо-таки пугал один случай. К нам прислали с дивизии связиста опробовать рацию. Мы стояли с ним у землянки, греясь на солнышке. Веселый усач травил мне анекдоты, была весна, в проталинах открылась прошлогодняя зелень, снег оседал, отовсюду слышалось урчание воды, стук капли. Голубые поля стеклянно блестели настом. Есть минуты в жизни, которые врезаются навсегда, со всеми красками, звуками, запахами. Мы расстегнули полушубки, подставляя себя долгожданной теплыни. Вдруг связист замолчал, как бы прислушиваясь. Потом он стал поворачиваться, пытаясь заглянуть назад. Я обернулся. На спине его из черного полушубка вылез бледно-серый клочок овчины. Выторкнулся и задрожал. «Что это?» – спросил я, не успевая понять. Связист недоуменно прислушался, зрачки его расширились, и он, помедлив еще какой-то миг, цепляясь за меня этим недоуменным взглядом, мягко сгибаясь в коленях, повалился вниз, лицом в землю. Пуля, тихая, без свиста, – правду говорят, шальная, – пробила грудь навывлет. Жизнь вышла сразу, вся, безболезненно, вместе с клочком овчины на спине. Не запомнилось ни фамилии, ни звания, – помню, отдельно от его лица, недоуменное выражение, с которым он уходил. Смерть долго еще выглядела как серенький клочок, вылезающий на спине. Я сам хоронил его на нашем полковом кладбище, сам отписал домой, как он пал, храбро сражаясь. Во что бы то ни стало хотелось украсить его смерть. На войне гибель – зло неизбежное, но то, что убит он был как бы бесполезно, не в бою, попусту, – представлялось ужасным, чуть ли не стыдным. Случайная смерть казалась злом войны в чистом виде. Мы как умели расписывали в письмах родным про гибель наших солдат. Вместо обстрелов, бомбежек сочиняли бои, чуть ли не подвиги, полагая, что хоть чем-то утешаем родных. Так, видать, обошелся и Борис с гибельным ранением грузинского мальчика.

В июле 1941 года Сергей Волков ушел воевать с винтовкой и двумя гранатами «по полям Новгородской области». Кроме положенного, взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке, справочник по металлвоведению: «собрался между делом подучить». Так он представлял войну. Через неделю справочник выбросил, затем выбросил тетрадь, порошок высыпал, коробку оставил для пуговиц, ниток, мыло туда клал. Сапожная щетка пошла на растопку.

«...Тем не менее я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жанна, я вышел из самых низов, из дворников, прачек, все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом, и я не могу позволить себе утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с Вами слишком большая разница в происхождении. Борис ближе Вам, Вы с ним из одной стаи. В этом смысле я очень чувствителен...»

Мы считали его кичливым зазнайкой, который щеголял своим инженерством, а он втайне мучился дворницким происхождением. При этом на четырех страницах расписывал свое ленинградское житье, продуманный до мелочей уют, роскошь по тем временам:

«...В нише имеется новейшая химическая аппаратура, – я занимаюсь дома некоторыми опытами. Появится какая-то идея, надо тут же проверить. Я люблю, чтобы на небольшом столике, наискосок от письменного стола, лежали последние газеты и журналы, стояли вазочки с конфетами и печенье. На письменном столе я люблю видеть букет живых цветов. Сидя в кресле, я могу, протянув руку, достать любой справочник с этажерки, могу включить радио. Не забудьте, что я монтер. Стены оформлены живописью. Импрессионисты, рисунки японских художников, архитектура Реймского собора, Врубель, зарисовки Рембрандта его жены Саскии. На окне у меня аквариум с вуалехвостками и небольшим фонтаном. А если помечтать и займется хороший телевизор, то, возможно, вы откажетесь пойти в театр и предпочтете провести вечер у меня в комнате».

Ну, расписал, ну, нахвалился, три дня не евши, а в зубах ковыряет! Телевизор! Я проверил дату – 1942 год, ноябрь. Это значит, в раскисшей окопной грязи, в самый непросых, когда мы мыкались с фурункулезом, он тайком мысленно нежилась в своем уюте с телевизором, Реймским собором и вуалехвостками. Дезертир, форменное

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
душевное предательство!

«Я полагаю, что во всем этом нет мещанства, о котором Вы беспокоитесь. Я тоже против мещанства, но здесь, на фронте, мои понятия о мещанстве изменились».

Каждый против мещанства. Никто не скажет – я за мещанство! Но этот Волков не так-то был прост. Открестился – он против мещанства! Обезопасил себя, а на самом деле что он описывает. Но откровенно говоря, я не очень понимал, что такое мещанство.

«Когда спокойная трудовая жизнь – трудятся-то у нас все, – когда дом, уют, пусть даже герань на окнах – Вы знаете, Жанна, отсюда из окопов все это выглядит так прекрасно, и мещанского не различить в этих приметах. Не могу согласиться с Вашей фразой „мои требования к жизни иные“. Требовать от жизни толку мало, требовать надо от себя, и только от себя. Жизнь нам ничем не обязана. Мы усвоили, что государство должно о нас заботиться, устраивать, обеспечивать и жильем и мыслями, чуть что – требуем. А ты от себя потребуй. Разве я могу требовать, чтобы Вы прониклись ко мне чувством? Некоторые у нас считают, что в тылу обязаны любить нас, хранить верность и т.п. А, собственно говоря, – почему? Во-первых, мы, требующие это, сами себе позволяем... Во-вторых, война – это проверка, а не льгота. Я могу пытаться завоевать Вас лишь трудом своих чувств». фразы о требовании были подчеркнуты простым карандашом.

«Посылаю Вам щепотку песка – ленинградской земли, в которую мы прочно врылись».

Я потряс конверт. Всего несколько песчинок высыпались на ладонь. Они поблескивали при свете лампы, чудом уцелевшие и сами чудо, как если бы лег на руки снег той зимы, пайка того хлеба.

Без перехода Волков выкладывал ей про кино: «Вы явно не поняли меня, и, простите, но Вы не представляете, что такое цветное стереокино, которое я смотрел на площади Маяковского в мае 1941 года».

Можно было подумать, что он умышленно цепляется к каждой ее фразе, чтобы втянуть в споры, надо же было завязать вокруг чего-то отношения. Но я-то знал его манеру цепляться, не соглашаться ни с кем, обо всем у него было свое мнение. Он позволял себе поучать и старших по званию. Начальнику штаба полка он разъяснил, что кабель, обнаруженный нами, высоковольтный, направление его и так ясно, нечего его копать, проверять, – идет он на подстанцию, что около нашей хозчасти, использовать его для телефонной связи можно спокойно, потому что никаких ответвлений у высоковольтных кабелей не бывает. Разъяснял он, как школьнику, с терпеливостью, от которой начштаба зашелся и потом не раз попрекал нас всех без разбору умниками. Сейчас я сочувственно подумал, что копать мерзлую землю, чтобы проверить, не присоединился ли кто, было действительно неразумно.

Начальник штаба, аккуратный старичок, негнувшийся, как на шарнирах, неумоимо требовал от нас донесений, сводок, схем; если бы не командир полка, он бы нас замучил. Вздорный, с воспаленной амбицией, чинуша – таким он увиделся по нынешним моим меркам. Нет ничего худее начальника, который боится признаться в своем невежестве.

...Постепенно у Жанны и Волкова образовался почтовый быт. Куда-то девалась одна его посланная фотография, одно письмо застряло, зато другое письмо пришло почему-то быстро, через девять дней. Появились как бы общие знакомые, он отвечал Жанне на расспросы о Левашове, о его приятельнице Зине, которую затем убило под Синявином. Подруга Жанны, стоматолог, иронизировала над стилем волковских посланий. Однако он оставался верен себе: «Я буду писать Вам в том же духе, потому что это и есть я, с Вами пребываю самим собою». Он взвешивал каждое ее слово, и, видно, ей это нравилось.

Никто еще с ней так уважительно не обращался. Как у телефонной будки, мне была слышна лишь половина чужого разговора, я гадал о неведомых вопросах и размышлениях Жанны.

«Что такое подлинный оптимизм? – вдруг отвечал Волков. – Все же это не вера. Конечно, Вы правы, мы верим в победу. Но ведь не потому, что вера помогает сохранить боевой дух, т.е. верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знание. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru античеловечны, они не могут торжествовать. Мне возражают, ссылаясь на Тамерлана и Чингисхана. Они были просто завоевателями. Фашизм пользуется страшной идеей, ненавистной другим народам. Наши идеалы общечеловечны, и они должны победить. Вот в чем мой оптимизм. Пессимистом приятно быть в юности. И, кстати, ничего плохого в этом нет. Но мне уже поздно быть разочарованным и несчастным. Я научился ценить мгновение. Мне б еще научиться помалкивать и соглашаться».

И далее он язвительно описывал, как всюду он суется со своей правотой, всех поучает, и, хотя то, что он требует, правильно, – например, когда предлагает другую схему заграждений, – это почему-то всех обижает. Про схему не знаю, но вспомнились другие нудные его поучения: старшине он доказывал, какая каша калорийнее, замполиту – где откроют второй фронт, поправлял нас – это виден купол не такого собора, а другого. Оттого, что он был прав, его терпеть не могли. И в звании его из-за этого не повышали.

В одном из писем он благодарил Жанну за открытку с изображением решетки Зимнего дворца: «Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет, потому что вся решетка сада Зимнего дворца снята еще в 1917 году, свезена за Нарвскую заставу и поставлена у сада Девятого января. Там она плохо вяжется с окружением...»

Замечание показалось резонным. Жаль, что замысел Растрелли был нарушен, – вот что я подумал, но сразу же подумал и о том, что на фронте подобное его высказывание вызвало бы раздражение. Мы ругали артиллеристов, Военторг, своих начальников, но не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть плохого в ней. Последними словами поносили мы нашу телефонную связь. Волков рассуждал: радио изобрели у нас, почему же мы сидим без радиации? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирает с голода в Ленинграде? – допытывался он у комиссара, упрямо набычив каменно-гладкую голову. В письмах к Жанне все чаще встречались замечания рискованные. Цензура вычеркивала какие-то строки, а кое-что и проскакивало: «Что Вы скажете, Жанна, о гимне Советского Союза? Откровенно говоря, мне больше нравится как гимн „Интернационал“ По тем временам такого рода высказывания могли кончиться неприятностями.

Мелькнула фамилия Припутышко, из-за фамилии он и вспомнился, увиделось не лицо, а мягкие ловкие его руки, оббегающие оружейный замок. Он оружейный техник, кроме того, возится с автоматами, диски у нас портятся. Волков обсуждает с ним работу диска и устанавливает ошибку конструктора. Убедительно и опять почему-то неприятно. Левашов считал, что у Волкова талант сомнения, вымирающее качество. Единственный из начальников, кто защищал Волкова, был наш комиссар. Один еретик полезен для приправы, говорил он. После нашей стычки из-за письма Волков относился ко мне с подчеркнутой бесстрастностью, но я-то видел за ней брезгливость, неуважение – то, что уязвляло меня более всего. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей. Пришлось так и делать, – уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Я подумал об этом с раскаянием. Привычный образ Волкова нарушился. Письма сдвинули фокус, изображение стало расплывчатым, раздвоилось.

»...Книжка может Вам показаться любопытной, как будущему строителю. Я перелистал ее. Грустно: чтобы снабдить ее данными и позволить автору делать выводы, потребовалось разрушить сотни домов, убить под развалинами десятки тысяч ленинградцев, сотни тысяч оставить без крова. Огромные потери делают автора глухим. На странице 120 он пишет; «Потери машин и людей, их обслуживающих, безусловно, окупались возможностью поддерживать нормальную работу заводов и учреждений». Чувствуете? Он же сам не слышит, какую чудовищную идею провозглашает. Да разве могут чем-то окупаться потери людей? Нормальной работой! Как же называть нормальной такую работу? Сколько людей можно, по-вашему, товарищ автор, принести в жертву, чтобы учреждение работало? Автор пишет, что лестничные клетки повышают сопротивляемость здания при бомбежке. Это наблюдение точное. Предлагаю проект наилучшего типа здания, сделанного по рекомендациям книги: совсем круглое, все на шарнирах, с большим количеством лестниц, с зенитной батареей наверху, а все люди, оборудование – в бомбоубежище за несколько километров. Когда будете просматривать книгу, увидите в ней трупы комаров. Я убиваю их на своей бритой голове, где их на квадратный сантиметр больше, чем на любом участке фронта. Книгу у меня вчера утащили, еле нашел. Взял ее Семен Левашов, мой приятель. Накануне я показал ему место про потери. Он парень толковый, но всегда удивляется, что можно видеть вещи иначе, чем принято. Вместе

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru с Дударовым и Поляковым они обсуждали это место в книге и навалились на меня. Молодые эти люди имеют ум острый, но неразвитый. Все принимают на веру. Напечатано – значит, правильно. Видно, что им не приходилось заниматься изобретательством».

У меня похолодело внутри, когда увидел свою фамилию, красиво выписанную его рукой. Просто упомянул без вражды, чуть ли не с симпатией, вместе с Левашовым.

Между тем Борис, учуяв или поняв, что происходит, стал писать чаще, слал письмо за письмом, подтверждая свои чувства. Письма оставались короткими, он все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он сообщал, как и год назад, – насчет здоровья, как рад был-получить ответ Жанны, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицер в разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько там всего происходило, а в письмах ни звука. И у Волкова то же самое, да и в моих собственных письмах родным, сколько я помню, – ничего про войну. Почему так было – не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе молодым.

Даже если бы Жанна не переписывалась с Волковым, все равно однообразие Борисовых писем должно было ей надоесть. Он не умел писать. Писать письма и для меня было мукой, собственная жизнь, когда садишься за бумагу, становится плоской; недостойной описания, куда-то пропадает значимость событий. Борис не замечал, как он повторяется и проигрывает. Ущемленное самолюбие подстегивало его, он злился и выглядел еще глупее. Его наградили орденом Отечественной войны за переправу, – знаменитый бой, о нем сообщали газеты, а Борис ни словом не обмолвился. Он не скромничал, повторяю, он просто не умел писать, не умел рассказывать о себе. Я хорошо понимал его. Это вовсе не достоинство. Несколько раз меня приглашали на пионерские сборы рассказать о войне. Добросовестно перечислял я населенные пункты, которые мы оставили, затем населенные пункты, которые мы взяли, пути наступления, бои. Ребята скучали, и самому мне было скучно.

В компании Борис умел и анекдот рассказать, и спеть, и изобразить любого из нас голосом, ужимками; вокруг него всегда было весело, он хорошо подходил к непрочному нашему житью. «Кррасотища!» – рычал он, вваливаясь в землянку весь в сосульках, и сразу фитиль в высокой гильзе начинал бодрее потрескивать, прибавлялось света, тепла. Коричневый бархат театрального занавеса он приволок из разбитого клуба. Разрезал, раздал по землянкам, создав, по его выражению, пиратскую роскошь. Ничего этого Жанна не знала. Борис представал перед ней как недалекий бурбон. Письма Волкова Жанна читала подругам, письма Бориса ни читать другим, ни самой перечитывать не имело смысла. Знай Борис про то, как Жанне нравятся письма Волкова, он мог бы тоже расстараться. После той стычки с Волковым я рассказал ему о стиле волковских писаний и думал, что мы посмеялись, и только. Борис считал, что всегда сдержанный Волков так вспылил потому, что совесть у него нечиста, потому что воспользовался откровенностью товарища и стал браконьерничать.

В ту пору у Бориса и прорвалось: «Здравствуй, милая Жанна! Сегодня счастливый день, я получил твое письмо после четырех месяцев твоего молчания. Долго ты меня мучила, но наконец я читаю твои слова. Милая Жанна, давай не будем больше испытывать друг друга, не будем ранить подозрениями и наводить тень на ясную будущую молодую жизнь нашу. Не может быть, чтобы ты плохо думала обо мне, у тебя нет на то оснований. Для меня самое главное в отношениях – откровенность. Чего-то ты не договариваешь. Я часто представляю, с какой радостью я прижал бы тебя к своей груди и рассказал все, что накопилось за период с первого твоего письма до последнего. Мой товарищ по оружию А.Дударев, – впрочем, я тебе упоминал о нем, – случайно после бомбежки подобрал письмо С.Волкова к тебе. В связи с этим, если можно, напиши подробнее, что тебе он пишет. Тоха удивляется, что ты в нем нашла? Напрасно ты полагаешь, что С.Волков мой близкий друг. Не знаю, чего он тебе плетет, мы и раньше-то не были друзьями, а теперь и вовсе. Получалось, наверно, как в рассказе О.Генри „Блинчики“. Обязательно прочитай. Если не найдешь, я в следующем письме пришлю. Я лично буду продолжать жить, бороться, имея мечту, что наши пути соединятся. Целую, твой Борис».

Использовал как бы невзначай меня для укола, сам же не позволил себе никаких выпадов против соперника, ничем его не ослабил. Он вел себя рыцарски, единственное – указал на рассказ О.Генри, впервые блеснул, мол, тоже не лыком шиты. Откуда я знал этот рассказ? Не был я поклонником О.Генри. Следовательно,

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Борис пересказал. Он пересказывал Зощенко, Мопассана и О.Генри. История с неожиданным концом. «Блинчики» – про то, как один простодушный, неотесанный ковбой влюбился в девушку. Соперник его, образованный, ловкий на язык парень обвел его вокруг пальца. Дело было так: ковбой хотел изувечить этого болтуна за то, что тот вклинился, но парень задурил ему голову, посоветовал для успеха у девицы вести разговор о блинчиках. На самом же деле, как потом выяснилось, в той семье терпеть не могли блинчиков. Что-то в этом роде. В результате ковбой был отлучен, изгнан, и тот парень, несмотря на недозволенный прием, восторжествовал и предложил свою руку девице. Такие получились «блинчики».

С помощью рассказа Борис позволил себе единственный упрек Жанне. Ревность усилила его чувства к девушке, которую он никогда не видел. Да как же Волков так мог, рассуждал он, ведь знал, что у меня всерьез завязывается. Я с ним по-товарищески поделился, а он воспользовался и тайком к ней... Самолюбие его страдало, казалось, он обладал всеми преимуществами, всеми правами и, однако, проигрывал. Из-за своей общительности он не мог удержаться, рассказывал, зачитывал и нам кое-что из насмешливых ответов Жанны. Я жалел Бориса, я негодовал, я искал случая отплатить Волкову за него, высказать все в глаза.

«Несколько часов тому назад в штабе мне передали Ваше письмо. Безобразие, как долго идут письма. Почти месяц! Три дня назад я получил извещение, что убит мой племянник. Он был мне как младший брат. Очень я его любил. Две недели назад умерла в Ленинграде моя мамочка. Дистрофия взяла свое. Так и не оправилась от блокады. Она все хотела умереть в начале месяца, чтобы оставить карточку своей сестре. Племянник мой погиб под Синявином, там много моих друзей легло. Он был совсем молодой, жизни не знал, зато смерти навидался. Об этом писать Вам не хочу, это не должно быть Вам интересно, хотя Вы будете доказывать обратное из вежливости. Лучше поговорим о красоте жизни, которую мы защищаем. У нас прибавили паек, помаленьку отъедаемся. Когда я был в городе, слышал по радио стихи Ольги Берггольц. Как хорошо она читала. Я думаю, что после войны мы будем ставить памятники в первую очередь женщинам. И поэту Берггольц тоже. Вы пишете про кино. Я не сумел посмотреть ни „Воздушный извозчик“, ни „Насреддин в Бухаре“. Кино для нас труднодоступное удовольствие. Видел я „Антон Иванович сердится“ – очень понравился, и фильм „Два бойца“. В театр выбраться ни разу не мог. По поводу „Двух бойцов“ Вы ставите вопрос: „Можно ли полюбить человека по письмам?“ В фильме девушке пишет Аркадий, но подпись дает своего друга. Он вводит девушку в заблуждение. Простите, Жанна, меня вызывают... Был очень занят. Сегодня уже 10.XI, т.е. на следующий день продолжаю. Вопрос Ваш не простой и для нас обоих важный. Отвечаю независимо от фильма. По-моему, полюбить можно, но только полюбить, не больше. Любить в полном смысле нельзя. И вот почему. Любить – это значит иметь человека, с которым хочешь соединить жизнь. Любовь не наступает сразу, это процесс. Природное родство, взаимная тяга, привлекательность, начальная свободная валентность заставляет интересоваться, затем подстраиваться друг к другу. Происходят внутренние изменения, ты постепенно находишь новые приятные черты в другом человеке, и то, что, может, недавно оставляло тебя равнодушным, теперь стало нравиться. Почему? Да потому, что в тебе самом произошла подстройка, изменилась структура. Температура повысилась, и реакция соединения стала возможной. Простите, что я применяю здесь школьные физико-химические модели. Для меня любовь – это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих навстречу друг другу. Есть тут общие требования – порядочность, целеустремленность, идейная общность – и сугубо личные требования. Допустим, внешний вид, привычки и т.п. Но когда перестройка произошла, то после этого перестаешь замечать вещи, которые раньше оттолкнули бы. У меня здесь приятель, Семен Левашов, получил письмо из дома, анонимное (не стесняются!), что жена его делает карьеру всеми частями тела. И Семен, побушевав, примирился с этим, потому что любит ее безумно. Но вернемся к переписке. Если общие требования Ваши можно выяснить в письмах, то личные Вы не проверите. Или получите о них не то представление. Это существенная опасность, допустим. Вам кажется, что он порядочный человек, тянется к Вам всей душой, рубаха парень, молодой, горячий, передовых взглядов. Он понимает Вас, и у Вас впечатление, что нашли человека, которого искали, плюс фотокарточка – облик отнюдь не уродя. Полупризнания с обеих сторон, откровенности, работа воображения, и появляется чувство. Полюбить можно, но так же, как можно попробовать суп из котла. Снять пробу. Как будто вкусно, но когда начнете есть, эффект может быть другой. Хотите, я сразу разрушу вашу любовь? Вы увидели его воочию, и, оказывается, он слишком высок, он скособочен, он неопрятен, у него пахнет изо рта, – разве узнаешь об этом по письмам? Возьмем не так грубо. Оказалось, он скуп. Скрыга. Трясется над каждым рублем. Или он в первую же встречу обнимает, целует при

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru всех, подмигивает, чтобы скорее уединиться. Нет ни цветов, ни трепета. Влюбленность не задумывается над совместным бытом, у нее нет желания соединить судьбы, она требует постоянного общения. Влюбленность, как всякое увлечение, рассчитана на короткое время, если не перейдет в любовь. Ну, хватит теоретизировать. Вы писали про архитектурный кружок и жаловались на эпидиаскоп. Действительно, у нас выпускают эпидиаскопы, не рассчитав их на долгую работу. Даю совет. Открытку, которую надо показывать, я прижимал сверху простым стеклом, она не коробится, когда вынимал, то обязательно вкладывал в толстую книгу...»

И долго еще инструктировал, с нудной обстоятельностью, лишь в конце появилось что-то наше, фронтовое:

«Сейчас 02 часа 33 мин. Озябли ноги. Сажу в ушанке. Кончились дровишки. На Ноябрьские дежурил по части. Это письмо доберется, наверное, к Новому году, поэтому поздравляю Вас и хочу, чтобы жизнь дала то, что Вы требуете. Кругом меня жизнь прохудилась, стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если Вы пишете мне ответ, то до него я должен дожить».

На Новый год и выпал мне повод объяснить с Волковым, вступить за Бориса, хотя он этого не просил. Но я считал себя обязанным вернуть ему похищенную любовь. Несправедливость, учиненная над Борисом, жгла меня, ибо для юности священна жажда восстановить справедливость. Сердца наши привлекали герои, которые терпели унижение за свои подвиги, которых преследовали клевета, наветы, козни, любимые отворачивались от них... Словом, Волков был типичный злодей, а Борис был как Овод или как Дубровский. В конце концов, мне только исполнилось двадцать лет, по сегодняшним моим понятиям – мальчишка.

Был веселый офицерский ужин, кажется, была елка, откуда-то пригласили двух или трех женщин, мы с ними по очереди танцевали. Во время перерыва женщина, с которой я разговаривал, улыбнулась Волкову, который стоял неподалеку, и он улыбнулся ей. Она не слушала меня. Я подошел к Волкову и сказал, что хватит цепляться к чужим женщинам. Назвал его непорядочным человеком. Он позволяет себе лезть к невесте своего же товарища. Все это произнес хладнокровно, руки за спину, покачиваясь на носочках. Воспользовались, значит, доверчивостью Лукина. Думаете, если вы такой эрудированный, все позволено, а мы тут скобари, тухи серопузы. Очень я нравился себе таким элегантным мстителем. Но Волков все испортил своей улыбкой. Ему явно было смешно, боюсь, что от моего тона. Взял он меня под руку, отвел в сторону и сказал уже серьезно, что я ставлю в жалкое положение Лукина, которого здесь нет, в таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться; если мне когда-нибудь станут известны обстоятельства, мне будет стыдно.

Через несколько дней Лукин вернулся из командировки, потом началась подготовка к наступлению, узнал ли Борис о новогодней истории, неизвестно, но больше он мне о своей переписке не рассказывал.

«...Встречали мы Новый год 1-го января в той самой деревеньке, из которой я писал Вам первое свое письмо. В 18:00 собрались в избу. Начали с доклада о международном положении. Доклад делал наш офицер. Читал, как пономарь, сообщая всем известные истины, что Германия будет разбита, что второй фронт будет открыт, что у немцев все больше ошибок, а у нас все больше умения и т.д. Кончил, мы бурно похлопали, потом были выборы в совет офицерского собрания, куда я, раб божий Сергей, тоже попал по рекомендации С.Л., единственного здесь моего товарища. После выборов ком-р части прочел напутственное слово для офицеров, чтобы не напивались, не матерились, не дрались, чтобы консервы с тарелки брали вилками, а не руками и с женщинами обращались бережно, как с хлебом».

Я не вспомнил, а представил, как наш командир говорил, это была его интонация – не то в шутку, не то всерьез. Он сам умел выпить и погулять. Учил нас при питье знать – сколько, с кем, что пьешь и когда. Ерш, говорил он, это не разное питье, а разные собутельники.

«Солдаты принесли скамейки в избу. Мы вошли. Три стола с белыми скатертями, и на них яства, от которых мы отвыкли, – винегрет, хлеб черный, 25% белого, капуста, шпроты, селедка, благословенная водка из расчета пол-литра на двоих. Стояла елка с игрушками. Вся комната была в лентах с золотым дождем. Перед входом в этот зал имелась маленькая комнатка, где мы прыскались шипром, ваксилы сапоги...»

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Господи, была же елка! Она появилась передо мной в золотых звездах, нарядней, чем в детстве, она вспомнилась вместе с тем замирающим чувством восторга, что вдруг нахлынул среди голодной зимы. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Тут смешалось все – и окопная бессонница, и прокопченная эта изба, и грубый наш офицерский быт, и – вдруг – это видение из прошлого, когда были еще мама, папа, братишка, тетка, наш дом, еще не спаленный, старый шкаф с игрушками. Нежный свежий запах елки, запах зажженных крохотных свечек, запах рождества мешался с запахами капусты, кожи, табака, пороха, неистребимым смрадом войны. Даже в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от той елки в ночь на 1943 год. Я вспомнил, походил по комнате, любясь этой картиной, чувствуя на лице улыбку.

«Первый тост предложили за победу, второй за Родину, третий за наших любимых. Приехали артисты из Дома Красной Армии». Вот артистов я плохо помнил.

«Они сидели с нами, мы кормили их котлетами с жареной картошкой, потом начались танцы. Между танцами артисты исполняли номера. Мне было хорошо и грустно. Безумная мысль мне досаждала – откроется дверь и войдете Вы, в голубеньком платье. Есть у Вас такое? Бывают ведь чудеса? Вы войдете, все с грохотом встанут, вытянутся. Вы будете обходить нас и вглядываться, отыскивая меня. Но время шло, и Вы не появлялись. А появился крепко поддавший лейтенант Д., приятель Б.Лукина, и принялся меня распекать за то, что я Вас „обольщаю“ без позволения на то Бориса. Почему люди считают себя вправе лезть в чужие интимные отношения, судить о них, решать, что правильно, что неправильно! Танцевали под радиолу и под баян. Я сыграл несколько танцев, но получилось у меня грустновато. Потом устроили чай с пирожками с рисом. Чай был сладкий. Артисты остались очень довольны, всем было весело, и я сейчас, когда пишу, понимаю, что было хорошо, вполне прилично. В два часа ночи был минометный обстрел, а на соседнем участке фрицы попытались пройти, но их неплохо встретили. Идет война, мы защищаем великий город, отечество, и при этом позволяем себе ссориться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть достойным того, что мы защищаем. Я виноват, я попробую объясниться с Б.Л., хотя не знаю как. Любить, мечтать о любви – это, по-моему, достойно даже во время такой тяжелой войны..»

Меня часто отрывают, поэтому письмо нескладное. А Борису я завидую, он сумел найти с Вами близкий язык, если Вы с ним на «ты». Буду надеяться, что когда-нибудь и я этого заслужу. Как бы ни сложились мои отношения с ним, лично я всегда буду ему благодарен за знакомство с Вами».

Вот и все, что было о той памятной мне истории. Без обиды, без гнева, после нее чай с пирожками, то, что чай сладкий, для него тоже существенно. А может, он прав. С нынешнего расставания кажется смешно, несопоставимо, что в разгар войны, на передовой, такие страсти терзали нас. Идет минометный обстрел, а я петухом наскакиваю на Волкова – из-за чего?

«Наконец-то, дорогая Жанна, пришло Ваше письмо от 15.IV. Не понимаю, почему Вы не получаете моих писем? Я написал Вам за этот месяц три письма, каждое страниц на десять. Неужели пропали? Я повторю ответ на Ваше письмо от 17.III, где Вы не соглашаетесь с моим мнением. Мысли Ваши меня поразили, они открыли для меня иную сторону вопроса, ту, которую видит женщина. Вы пишете, что пусть тот, кого Вы полюбите по письмам, окажется и роста другого, и хром, и болен. Вы согласны на это. Вы заранее готовы перетерпеть. Вы приготовитесь к разочарованиям. Подозреваю, что Вам даже хочется пострадать, без этого любовь не в любовь. Лишь бы внутри возлюбленного имелась душа, ради которой Вы готовы отбросить многие претензии. Как у нас говорят, в милом нет постылого. Вы, девочка, способны возвыситься до такого, чего я, взрослый, мужчина, все видавший в жизни, не до конца могу постигнуть, могу лишь почувствовать в этом недоступную нашему мужскому племени мудрость. Я себя останавливаю: восторженность девичья. Попробует, помучается месяц, другой, потом жизнь возьмет свое. Появится молодой да красивый, и она сменяет, почему не сменить? Но тут же чувствую, что обычная житейская логика не властна над женщиной, она ниже женского сердца. Тем-то любовь и удивляет, что любовь не поддается расчету. Разница между нами в том, что я, честно говоря, боюсь Вас увидеть. Хочу и боюсь. Потому что я составил себе Ваш образ, Ваш характер, я с Вами мысленно разговариваю и вижу каждый Ваш жест. Несомненно, Вы живая не совпадете с той, какую я сочинил из Ваших писем и фотокарточек. Расхождение, может, будет велико. Возможно, Вы на самом деле лучше, чем придуманная, но я-то свыкся, я-то буду обламывать Вас под прокрустово

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
ложе. Поняли теперь, какова разница между нами? Ведь у Вас тоже сложился
какой-то мой образ, а Вы нисколько этого не боитесь...»

Далее Волков зачем-то с подробностями описывал, как они, ночуя в сарае после немцев, обовшивели, вся солома кишела вшами: «Вы не представляете, что это за мерзость, когда чувствуешь, как по телу ползают десятки паразитов, и сделать ничего не можешь, смены белья нет, да ее и не доставить. Переправу через реку держат под непрерывным обстрелом. Вши заполняют все складки гимнастерки, брюк, они в портянках, в шинели, никуда от них не уйти, пришлось с ними жить более месяца. Сейчас нас отвели на отдых. Правда, всего за восемь километров от переднего края. Но все-таки эти пять-шесть дней были отдыхом. Третьего дня полностью избавился от паразитов. Рано утром затопили деревянную баню, накалили каменку. Над каменкой развешивали белье, в котором все складки были заполнены гнидами, шинель, ушанку, вывернутые наизнанку. Каменка обливалась водой из ведра, я еле успевал выскочить, чтобы не быть ошпаренным. Прodelав это семь раз, я сам вымылся, натерев мочалкой тело до крови, и вот уже третий день наслаждаюсь покоем. Ни одного укуса. Утром осматриваю бойцов – чисто! Только испытал этот ужас, ценишь прелесть чистой кровати с подушкой и простынями. Мне хотелось написать Вам не только о картинах фламандской школы, но и о картинах нашей походной жизни, хотя бы об одной из них».

«Если бы Вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу! Вот с кого надо писать художникам. Будь здесь фотографии, получились бы бесценные снимки. Я ехал в кабине, метров за двести до переправы девушка-регулировщик дает сигнал „стой!“. Колонна машин останавливается. Пропускаем встречные с орудиями. Они идут занимать наши позиции. Непрерывный обстрел, бьют по лесу, бьют по переправе. Сидим молча в кабине я и шофер. В кузове у нас мины. При близком разрыве идущие впереди солдаты бросаются на землю. Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прескучно. Время ползет медленно. Я смотрю то на стрелку секундную, то на девушку. Она стоит среди разрывов, не имеет права лечь на землю, не пригибается даже. Должна стоять и стоять. Что это – привычка? Но разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Я, например, привык бросаться на землю. Когда ее убьют, встанет другая. Потому что без регулировщицы нельзя. И снова взмахи флажков. Сколько эта переправа вывела из строя людей! Наконец она махнула нам, шофер дает газ, спускаемся к реке. Медленно движемся по шаткому мосту. Я закрываю глаза, когда рядом взматывается столб воды, а шофер должен смотреть вперед. На первой скорости добираемся на правый берег, отъезжаем метров триста, шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит все – „приехали!“. Посмотри Вы на его лицо, запомнили бы надолго, такое в нем было ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник...»

Все это было со мной: баня, и свежее белье, избавление от вшей, и переправа, девушка-регулировщик. Я уверен, что это когда-то было моим и что-то похожее было в моих письмах. Если они хранятся у той... фамилию ее позабыл, помнил лишь, что жила она на Пресне. Провести бы опыт: дать мне почитать те письма. Перепечатанные на машинке. Вряд ли я узнал бы, что они написаны мною. Многие фронтовые подробности читались бы как чужие, то есть пережитое, но необязательно мое, – оно как бы всеобщее, знакомое по кино, по книгам, слиплось неразличимо. Но что-то, какие-то строки вдруг откликались, и за ними медленно всходили числа, названия, поднимая за собою забытые сцены.

Одно письмо Волкова было в подтеках, первую страницу с трудом разобрал. На последней сбоку приписка объяснила: «Случилось несчастье, проснулся в семь утра, ужас! Вода льется ручьями. Тают снега. Схемы, что чертил, пропали, письмо тоже пострадало, у меня совсем нет времени переписывать его, посылаю в таком неприглядном виде. Сам весь мокрый. Ваш Сергей».

И я пожегся, припомнив свою затопленную землянку. Нижние нары закрыло водой. Всплыли доски пола. А что же творилось в окопах? Я стал припоминать, и так как знал, что хочу вспомнить, то передо мною появились заливаемые ледяной водой ходы сообщения, вода хлынула с брустверов, с полей, ручьями устремилась в окопы, и все прибывала, грозя нас вытолкнуть на поверхность. Из распадка, где было боевое охранение, приползли все четверо моих бойцов, все отделение, мокрые до нитки. Распадок залило полностью. Назавтра пошел дождь, снега поплыли, вода поднималась. Начштаба полка кричал про отводные канавки, про то, что он предупреждал, запрещал покидать позиции. Пулеметчиков на пригорке отрезало паводком, и мы никак не могли доставить им еду. Вода со снежным крошевом наступала неотвратно, остановив наше продвижение, ни артиллерия, ни авиация не

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru могли помочь нам. Как мы выдержали, не помню, вижу только уплывающие дровишки, с таким трудом заготовленные, диски ручных пулеметов, ящики с гранатами, как мы их тащили, подняв над головой. Куда тащили? Наверное, на крыши землянок.

И то, что мы удержались, наполнило меня запоздалой гордостью. Испытание ледяной купелью не было отмечено ни в сводках, ни в газетах, за него не полагалось наград, оно исчезло из памяти, утонуло в весенней радости наступления. Вряд ли и в моих письмах упоминалось об этом эпизоде. Там было, наверное, снятие блокады в январские солнечные дни сорок четвертого, вроде того, как писал Волков: «Освобождаем город Ленина, скоро узнаете об этом в газетах. По шоссе вереница легкораненых, мчатся санитарные машины, навстречу тяжелые танки с десантами, машины с боеприпасами, везут пленных фрицев...» Я жадно выискивал в письмах Волкова эти описания, в общем-то бесцветные. Все-таки в них сохранилась подлинность спешки, различались звуки, которые когда-то я слышал на том шоссе, запах, движение, от которого мы отвыкли, – движение, которое так вкусно пахло бензином, дизельной копотью, развороченным асфальтом. Сквозь февральскую влажность мы входили в Эстонию. Вот и она: «Пятнадцать градусов мороза, ночевал в открытом сарае, продрог, кругом треск от выстрелов и взрывов. Похоронили многих товарищей». В другом письме тоже:

«Леса Эстонии. Небо звездное. Прекрасно виден Орион и Сириус. Лежу в палатке. Рядом бойцы. Все спят. В двух километрах гремит бой. Воют наши „катюши“. Наверху летит самолет, к которому несутся красные и зеленые линии трассирующих пуль. Недалеко раздается крик часового: „Стой! Кто идет?“ Поднимаются сигнальные ракеты. Вчера два снаряда упали метрах в десяти от нашей палатки. Мы лежали и додали смерти, а они не взорвались. Все мои ребята остались целы, настроение у меня поэтому прекрасное».

«Сижу около своего шалаша и давлю комаров. Напротив Надя развела огонь в ведре и положила мху. Валит дым. Мимо прошествовал повар утверждать меню командиру части. Спросил, чем завтра кормить будут. Слушайте: завтрак – каша из фасоли. Обед – суп лапша, картофельное пюре с селедкой».

«На чердаке дома во время поисков мин нашел интересную газетку. Сохранил и оставил у себя. Я люблю такие штучки: „Газета-копейка“ от 17 апреля 1915 года. Есть интересные заметки: „Цепелин над Англией“, „Как должны говорить телефонистки“.

«Вчера чудно пообедали. На первое кусок семги. Суп. Рисовая каша с отбивной котлетой».

Чего это он все про жратву? Довольно бестактно, у них там в Тбилиси в это время не густо было насчет пожевать. Но я уже по уши вошел в то время и мог сообразить, что иначе быть не могло: после вареной лебеды, гнилых капустных листьев, дележа хлеба, после отечности, дистрофии, фурункулов, цинги, после того, как Синюхина у меня в роте судили за кражу картошки из кухни, – украл и съел сырую картошку, – после всего этого обилие и разнообразие еды потрясало. Кусок семги – видение невероятное, так же как и обед из трех блюд с закуской – вместо термоса, который волокни ночью по ходам сообщения и потом у взводной землянки вычерпывали котелками промерзлую бурду. Каша, вываленная в макаронный суп, заменяла завтрак, обед, ужин. «Все тут было вместе. Случалось, что термос пробивало осколком и мы куковали на хлебе с сахаром.

За то, что Надю напомнил, поклон ему низкий. Не пригнись я тогда на ее крик, разбило бы мне череп. Сколько раз что-то спасало: прыгни в другой окоп – разнесло бы бомбой, задержись – попала бы пуля, – сколько было таких разминок со смертью, она касалась меня стылым крылом, и сразу мир озарялся, приходили в движение запахи, краски жизни. Эти восторги везения, казалось, навсегда останутся сияющим воспоминанием, но нет, забылись, стерлись.

И все же какие крупные, выпуклые были эти четыре года. Остальное послевоенное жите скомкалось в монотонное существование, не то что годы – десятилетия неразличимо слиплись.

Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплилась, и, что любопытно, Жанна время от времени как бы питала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Простодушие, верность, прямота, а может, молодость Бориса, а может, она уставала от умных рассуждений Волкова, от его

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
взрослости, образованности...

Пачки открыток с видами Ленинграда, каждую Волков заполнял пояснениями – что за здание, кто архитектор, когда построено. Память у него была исключительная.

»...Справа стоит одна из колонн с гениями Славы, подарок Фридриха-Вильгельма IV Прусского Николаю 1-му в 1845 году. За колонной виден портик бывшего Конногвардейского манежа работы Кваренги (1804 год)». И остальные в таком роде. Он сообщал, что ведет переписку с вологодским химиком М.Чуевой о том, почему соль кристаллизуется в виде куба, разбирал с ней какой-то практический вопрос неорганической химии, еще о чем-то. Помимо архитектуры, в его письмах были суждения о живописи Рембрандта, Рубенса, Ван-Гога, Пикассо, отдельное размышление о картине Клода Моне «Бульвар капуцинов в Париже», из русских художников он разобрал Саврасова, Левитана. Писал о театре, критиковал статью в «Правде» Симона Чиковани «Грузинская литература в дни Отечественной войны». Замечания его были не безобидны. Со статьей Чиковани он расправился без жалости. Неосторожная ехидность его разбора читалась с удовольствием.

Тревожило, что он терял всякую осмотрительность, письма его Жанна читала с опаской, – я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы. Может быть, его опьянило наступление? У нас у всех появилась эйфория успеха. К тому же он один из немногих оставался не задетым ни пулей, ни осколком. Как заговоренный он орудовал со своими минами и с немецкими минами, такая везучесть не могла хорошо кончиться. О своей везучести нельзя упоминать. Зачем же он писал Жанне, как он неуязвим? Не надо было писать. Война полна примет и суеверий. Слишком много зависит от случая. Как бы ты ни смеялся над приметами, украдкой все равно сплевываешь через левое плечо.

После выхода на шоссе к Тарту нас сменили, и мы остались на отдых. Приехал генерал из штаба армии вручать награды. Прикрепляя орден, он смотрел глаза в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Я еле удержался, чтобы не подмигнуть ему. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым. Перед Волковым он задержался. Внешность Волкова останавливала начальников. Проверяющие, корреспонденты, инструкторы обращались к нему. В нем чудилось им какое-то несоответствие: то ли разжалованный полковник, то ли случайно мобилизованный директор, – во всяком случае, что-то значительное, не соответствующее званию лейтенанта. Генерал заговорил с ним. Волков отделялся односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил его разговориться о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к шоссе можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел. В этом наступлении polegла вся вторая рота вместе с Семеном Левашовым, но все равно Волков не имел права так вести себя и портить нам праздник. Не генерал, не комдив, а мы сами на него навалились, потому что нам вперед рвать надо, а не потери считать. Надо драться с фашистами, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает в глазах начальства, которое так хорошо отзывалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разозлились на него, и он сорвался и бог знает чего наговорил – что мы заработали ордена на трупах! На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова и за прошлые разговоры и за этот.

Вскоре меня взяли в танковый полк, и от кого-то я потом узнал, что Волкова наказали, но дальнейшую участь его скрыло клубами пыли наших танков, самоходок, машин, идущих на запад.

В его письмах еще царило безмятежное неведение. Одно письмо с рисунком на всю страницу. Изображены были развалины дома, печка железная стоит на фундаменте, каменные ступени, извилистая линия бетонных опор. «Установите по этим руинам, какого стиля было сооружение, как его реставрировать. Нам теперь придется восстанавливать разрушенные города, и следует научиться сохранять дорогие истории нашей постройки. На печке сидит птичка, у нее голова большая от флюса, флюс мой, но она из-за него долго не сможет чирикать».

Некоторые намеки, шуточки я не понимал, наверное, из их внутреннего обихода, которым они быстро обрастали. У них были даже размолвки и примирения. Волков попробовал определить характер Жанны, нарисовать ее внутренний портрет.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Очевидно, он перестарался в своем правдолюбии, потому что она рассердилась (расстроилась?) и перестала отвечать.

«Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью, было такое, что не верил, что меня минует чаша сия. Однажды я с двумя бойцами был отрезан, и нас считали погибшими. Через несколько дней мы вышли, и вот, когда вернулся, я первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет Ваше письмо. Эта вера мне помогала всю дорогу. Жизнь ощущалась как никогда раньше – вернулись, без ранений, все выполнили. Вкус хлеба, вкус горячей каши, мягкость кровати, на которой можно вытянуться, лежать, сняв шинель, каждая мелочь радовала. Письма не было. Это казалось невероятным. Почему Вы перестали писать? Никого ближе Вас у меня сейчас нет. Так получилось. Ни здесь, в части, нигде в другом месте. Винить я Вас ни в чем не имею права, так же как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы Вы решили прекратить переписку, то что я могу? Ничего. У нас нет третьего, через которого я бы мог выяснить, что произошло. Не могу ж я обращаться с этим к Борису, да мы почти и не видимся, он на соседнем участке».

Дата последнего письма – 14 июля 1944 года. В нем ни слова о награде, о том происшествии. Есть такие строчки: «Погиб второй мой племянник. Погиб мой товарищ Семен Левашов. У него остался братик семилетний, родители умерли в блокаду, а братишка эвакуировался с детским домом в Саратов. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против?» И вдруг он переходит на шуточный, беспечный тон: «Венчаемся в католической церкви – у нас есть на Невском, затем едем в православную – Владимирский собор, оттуда в загс, после едем в Тбилиси, там все повторяем сначала. Двоеженство наказуемо, а двоезагство? И вообще, если зарегистрироваться каждый год?.. Закажал для Вас „Живопись Ирака“, достанут – сразу вышлю».

Я пытался вспомнить, разглядеть малый, последний промежуток от того происшествия до моего отъезда. Там, на отдыхе в Тарту, каким был Волков? Ничего не вспоминалось. Но почему-то мне представилось тяжелое его, вдумчивое спокойствие, словно бы, зная о грядущей опасности, он относился к ней как к неизбежному злу, как мы относились к ледяной воде, затопившей окопы. И, двигаясь задним ходом, я иначе увидел столкновение с генералом. Слова Волкова зазвучали обдуманно, и все его поведение не было вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы это ему ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут над ним. Впрочем, все это могло придуматься, домисливаться сейчас. Проклятое беспамятство пользовалось всякими уловками, поджигало воображение, угодливо рисовало то, чего мне хотелось.

В чулане стоял сундук. Большой, крепкий, обитый железными узорными скрепами. Принадлежал он моей бабке, он один остался от охтенского их домика, с флюгером, с чугунной лестницей, с полированными перилами. В сундук этот кидал я вещи, которые хотели выбросить. Спасал всякое старье. Отслуживший, сточенный охотничий нож, школьные тетради дочерей. Думал, что взрослым им будет приятно увидеть свои каракули. Грамоты, которые получала жена, какие-то номера газет. На самом дне лежало то, что осталось от войны. Там был мой медальон – черный пластмассовый патрончик с фамилией и прочими данными, по которому должны были опознать мой труп. Смертный медальон – лучшее, что мы могли привезти с войны, дороже всех медалей и наград, как заявила моя бабка. Была там пилотка, полевые погоны, обойма от «ТТ», танковый шлем, полевая сумка. А в полевой сумке вместе с последними листами карты Восточной Пруссии, на которых мы закончили войну, были всякие снимки, призма от триплекса и бумажки. Полевая сумка была из кирзы, потом мне предложили кожаную, но к этой я привык и остался с ней. Однажды я скатал свое военное имущество и увез, чтобы выбросить, до того надоели мне все эти реликвии. Жена попробовала отдать их в школьный музей, но там уже были и планшеты, и полевые сумки. Тогда я решил выбросить, но в последнюю минуту почему-то привез сюда и спрятал.

Нынче я приехал сюда, чтобы покопаться в сундуке. На одной из общих фотографий должны были быть и Волков, и Борис. Могло там храниться и письмецо Бориса, которое догнало меня под Кенигсбергом, в нем тоже могло кое-что быть.

Я поднял крышку сундука, и сразу дохнуло сладковатой прелью и слабым душистым запахом, знакомым с детства, когда сундук стоял у бабушки, прикрытый зеленой накидкой. Был он тогда огромным, как пещера. Давно я ничего не клал в него. Места хватало. Сундук, куда сбрасывают Прошлое. Но, наверное, наступила та

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru полоса жизни, о которой вспоминать не придется. Уровень наполнения соответствует тому сроку жизни, который идет на воспоминания, – формулировал я.

Я все никак не мог наклониться и достать полевую сумку с бумагами. Не хотелось ничего трогать. Прошлое безобидно долеживало тут до своего забвения. На самом деле я абсолютно честно ответил Жанне, что не знаю Волкова. Когда она спрашивала, я его начисто забыл. Так забывают то, от чего хотят избавиться. Это было нежелание, сопротивление памяти, ее инстинкт.

Что такое забвение, думал я, – здоровье оно памяти, ее защита или болезнь? Благо оно либо же чудовище, которое пожирает облики самых дорогих людей: слышны их голоса, а лица исчезли, колышется зеленоватое пятно, приближается и никак не может проступить родными чертами. Вдруг, как в насмешку, как подмиг, появляется какой-то красноречивый вагонный попутчик. Зачем изрыгнуло его чудовище памяти? Что копошится в ее недрах? Порой память целиком подчиняет себе человека, он начинает страдать памятью.

У нас была одна сотрудница, тихая, стеснительная женщина. Однажды кто-то из девиц, когда она что-то рассказывала о блокаде, сказал ей: «Подумаешь, делов, ваша блокада, – настоящие блокадники все на Пискаревском лежат». Глупая, даже подленькая фраза, пущенная много лет назад трусами, бездумно повторяется молодыми. Ее же эти слова поразили, она заметалась, и с той поры память накинута на нее. Зимой, в мороз, она надела валенки, подпоясалась платком, как это делали блокадники, и пошла по улице тем путем, каким ходила в блокаду. Стояла у булочной, прислонясь к стене, садилась на панели отдохнуть, легла в подворотне, там, где лежала в сорок втором году. Когда узнали, что она не больна, собралась толпа, большинство не смеялись, задумчиво стояли над ней. Она продолжала свой путь «на ту блокадную работу», так же падала, беспомощно смотря на небо. Заходила в магазин на Литейном, где последний раз отоварила свою карточку. Врач-психиатр потом подтвердил, что она здорова, ею просто завладело прошлое, ей так нравилось. «Я разговариваю с ушедшими из жизни, – призналась она мне, – они меня понимают, они слушают, мне с ними хорошо». Работала она добросовестно, и со странностями ее смирились. Порой она чувствовала себя лежащей на Пискаревском кладбище, окруженной почестями, к ней идут экскурсии, кладут цветы... Эта история подействовала на меня, я не хотел отдаться во власть воспоминаний. Я избегал встреч однополчан, вечеров воспоминаний. Зачем? Я свое отвоевал, свое получил, оставьте меня в покое. Люди хотят слушать про подвиги, победы, и они правы. Что я буду им рассказывать? Как у меня вырезали взвод? Как мы душили немцев в овраге? Как прикрывались в поле трупами?

Осторожно, без стука, я опустил крышку сундука.

Мне вдруг подумалось, что та история с Волковым не канула бесследно. О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броню сажали пехоту...

Письма Волкова кончились. Оставалось одно, последнее, датированное 1949 годом, но я отложил его.

А от Бориса последней была телеграмма в Тбилиси, в ноябре 1945 года: «Выезжаю, встречай, целую. Борис». И все. Что было дальше – неизвестно. Письменных сведений нет. История обрывалась на самом интересном месте. Как поступают в таких случаях историки?

Итак, был только белый конверт с новым обратным адресом: Хабаровский край, почтовое отделение «Залив», С.А.Волкову.

Почерк почти не изменился. Шесть больших страниц, заполненных убористо сверху донизу, – писака чертов; если б как-нибудь уклониться от чтения! Где-то там был заготовлен сюрприз, таилась предназначенная мне мина, с какой стати я должен переться на нее...

«Не удивляйтесь этому письму, не возмущайтесь. Почему человек, который страдает от одиночества, не может написать женщине, с которой когда-то у него были добрые отношения? Мы так и не увиделись. Я любил писать Вам, и, смею думать. Вы отвечали мне с охотой. Конечно, Вы сейчас замужем, возможно, у Вас дети, ну и что из этого? Думаю, в глазах мужа и детей то, что Вам несколько лет писал с

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru фронта человек о своем житье-бытье, о себе, рассуждал с Вами о живописи и литературе, никак Вас не порочит. Более того, если этот человек на основании переписки проникся к Вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности – в этом тоже ничего плохого нет. Среди тех, кто Вас любил, был и некий Волков, бедняге не повезло, но все равно он был один из самых верных Ваших поклонников. То, что Вас любили, – это естественно, стыдиться тут нечего. Если Вы замужем – поздравляю Вас. Но почему-то мне кажется, что Ваш муж не Б.Л. Почему, не знаю. И если Ваш муж Б.Л. – все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мною, в том необязательно видеть его злое участие. Я сам творил свою судьбу, не буду повторяться, об этом подробно писал прошлый раз. Мне когда-то, в той жизни, хотелось познакомиться с Вашими родителями. И вот не пришлось. Иметь хоть одного общего знакомого. Подумать только – пять лет минуло! Я часто вспоминаю не то, что я Вам писал, а то, как писал, как это помогало. Одно письмо я писал под минометным обстрелом. Мы лежали в палатке – хорошо прикрытые! – и ждали, попадет или нет. Бежать укрываться было некуда. Трое моих бойцов нервно курили самокрутку за самокруткой, а я писал Вам. И тоже ждал – пронесет, не пронесет? И не переставал писать, из суеверия, ни словом не упоминая про мины. Приятно вспоминать былые невзгоды...»

Дальше шли его стихи про войну. Там были две строчки, которые почему-то тронули меня:

Еще заметен след,
Еще нас могут вспомнить.

Где-то у меня были припрятаны сигареты. На всякий случай. Самые дешевые горлодеры «Прима». Я нашел их в кухне, на шкафу, пыльные, высохшие. От первой затяжки поплыло в голове, и слава богу, чем-то надо было прерваться. Мало ли что могло быть дальше. Могло быть и про меня. Почему нет?

Шел первый час ночи. Туман колыхался над землей, делал поляну за окном призрачной. Редкие тонкие сосны струились и затаивались в неровном свете. Желтый электрический свет фонарей ненужно горел на белом небе. Опечаленность была в этой картине, в этом неизвестно откуда льющемся свете. Я стоял, курил, смотрел, как вдруг спросил себя – не потому ли Жанна явилась, чтобы спросить ответа за Волкова, за его судьбу? Что еще могло заставить ее приехать? Ее настойчивость, ее угрюмость, ее нежелание ничего пояснить, пока я не прочту, – все, все сцепилось, стало на место. Волков ей написал, где-то узнала, кто-то намекнул. Поскольку комиссара нет, командира полка нет, из тех лейтенантов один я остался, то с меня весь спрос. Вали на серого, серый свезет. Ладно, прочитаем, там видно будет.

Каждый абзац был как препятствие, надо было перелезть, а сил не было, за каждым препятствием могло оказаться наставленное дуло...

«Как будто в 45 году я посылал Вам одно или два письма с просьбой выслать мне посылку. Если б Вы знали, Жанна, до чего мне стыдно. Бог ты мой, как я мог так опуститься. Единственным, причем не заслуживающим внимания, обстоятельством могло быть только отчаяние. Очень было голодно. Послевоенное время для всех было трудное, для нашего же брата особенно. Когда я ходил на завод, я с трудом поднимался на второй этаж в свою лабораторию. По дороге три раза отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал Вам письмо, просил мыло, кусок сала, свитер, что-то в этом роде. Война отняла у меня всех-родных, а приговор напугал тех немногих друзей, которые оставались. Почему-то я в этот момент устремился к Вам, это была слабость, бестактность, но тогда я полагал, что Вы так не сочтете. Простите меня, Жанна. Сейчас, когда я сыт, я вижу, что как бы хотел воспользоваться нашими отношениями и подкормиться. Воистину сытый голодного не разумеет. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Сегодня праздник – Седьмое ноября. Я вернулся из гостей. Ел настоящие сибирские пельмени, тушеную баранину с картошкой, пирожки, колымский ликер, какао и тому подобные вкусные вещи. Как Вы знаете, я был осужден, срок у меня был небольшой, и я в точности тот же самый, кто писал Вам письма с фронта. Сейчас я сижу в кабинете директора завода. За окном воеет пурга. Я работаю начальником производственно-технической части завода. Как раз по моей специальности технолога. Живу на вольной квартире. Оклад мой две тысячи рублей... Зачем я Вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо, чтобы Вы убедились, что и в сытости я помню о Вас. Во-вторых, потому что скучаю без Вас. Та незримая связь, которая возникла у меня с Вами, не отпускает, держит меня, и слава богу.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Разумом я сознавал, что Вы могли выйти замуж, но в душе, в самой ее глубине, мечтал, что Вы ждете меня. Только последнее время эта уверенность стала рушиться. Никаких оснований ни для уверенности, ни для сомнения у меня не было. Знал только, что не могла пропасть близость, которая у нас появилась. Мы рыли тоннель навстречу друг другу. Вы пробивались к моей душе, я – к Вашей. Никто так близко не добирался до моей сути, никому я так не открывался, и, хотя переписка оборвалась. Ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит. Но в постели взаимозаменяемость – вещь более легкая, чем в душе».

Хорошо было бы воспринимать это письмо как историческое, как архивный документ тех времен, когда автомобили гудели, паровозы дымили, письма писали чернилами. Письмо было длинное, очевидно, послано с оказией. Наконец-то Волков мог выговориться; он писал все так же без единой помарочки, без абзацев, что было правильно, поскольку жизнь идет сплошным, без абзацев и без помарок. Ошибки – как их вычеркнешь? Он рассказывал о своих делах, отвлекаясь на пейзажи и описания здешней природы.

В 1946 году его отправили в Москву и предложили работать по специальности. То есть практически его скоро заметили. Он стал руководить научно-исследовательской темой. Ему дали лабораторию и полигон. Через два года случилось несчастье – произошел взрыв. Волкову обожгло руки, голову, переломало кости. Чудом сохранились глаза. Когда он подлечился, его опять наказали. Как руководитель, он должен был отвечать.

Отправили в Магадан, сразу на должность начальника производства. С неподдельным восторгом описывал он поездку на пароходе – пролив Лаперуза, последний маяк Японии, Охотское море... Во время шторма он носился с кормы на нос, стараясь ничего не упустить. Качка на него не действовала. Он любовался бурей и сравнивал ее с картиной Айвазовского «Девятый вал». В свое время у него, видите ли, имелись сомнения – правильный ли цвет волны написал художник, бывают ли такие краски на гребне. Вцепившись в поручни, он проверял: огромный вал вздымался над головой, и оказалось, что Айвазовский прав. Приглядываясь к пылающим краскам тайги, он вспоминает Куинджи, Левитана, Шишкина, ну прямо заметки искусствоведа, будто он то и дело забегает в Русский музей сравнить.

Любой посторонний читатель вознегодовал бы – чего он строит из себя, ваньку валяет, до пейзажей ли? Манерничанье все это. Но я-то знал – кто пишет и кому. Ему показать надо было Жанне, что в любых условиях духовная жизнь его не гасла, в нем осталось поэтическое восприятие мира, не надо его жалеть, он все тот же, ему не нужны скидки. Иногда он перебирал в своих восторгах перед дикой красотой природы. Его благодущие сбивалось на фальшь. Однако ни одной жалобы, ни укора – ничего не позволил себе. Роль трудная, под конец ему все больших усилий стоило удерживать себя, сам себя за горло держал, иногда полузадушенный вскрик послышится – одиночество («Никого у меня не осталось, и уже не приобрести»), неуверенность («Хотел бы знать, что Вы думаете, читая это письмо?»). А в целом справился. Получилась несгибаемая личность, живущая полноценной жизнью; ему все нипочем, никакие обстоятельства его не удручают. Всюду есть пища пылливому уму, вот вам целое исследование о блатном языке, происхождение словечек: «шмон», «прохаря», «чернуха» и других. На предпоследней странице были строчки, подчеркнутые знакомым алым фломастером: «Недавно стало мне известно, что срок мне сократили благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков. Признаться, от него не ожидал такого, помнил о моей участи. Узнать бы, что заставило его?»

Кто ж это мог быть? Такой же волнистой чертой Жанна отмечала строки обо мне. Я перебирал всех, кого помнил, и все больше склонялся в пользу командира полка. Последние годы перед его смертью я несколько раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас был разговор про то наше наступление в Эстонии, и генерал сказал, что прав был тот лейтенант-сапер (фамилии его не называли), – неэкономная была операция, давай, давай! Азарт наступления подмял требования тактики. Это было в характере нашего генерала – вмешаться, позаботиться, не открывая себя.

Письмо обрывалось, будто Волков понял, что никакого конца быть не может. Потом он все же приложил узкий листок бумаги:

«Боюсь, не поставил ли я Вас этим письмом в трудное положение. Простите, я этого не хотел. Я не рассчитываю ни на участие, ни на ответ. Лет через пять, если буду

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru жив, я вам еще раз напишу. До этого не опасайтесь. А ведь я к Вам привык, как ни странно. Какое прекрасное было начало, и как печально все завершилось. Но, может, еще и не конец. Как говорил мой отец, где конец веревки этой? Нету его, отрубили!»

Вот и все. Папка пуста. Никого из нас не назвал, не попрекнул. Долго, со стыдным чувством облегчения смотрел я на дату, механически поставленную в углу, потом повалился на диван и мгновенно заснул, не раздеваясь, как когда-то засыпал на фронте.

3

Солнце, наколотое на шпиль Адмиралтейства, припекало пустой летний город, пыльную его зелень, гранитные набережные. На площади стояли экскурсионные автобусы. По горячему асфальту тупо стучали деревянные подошвы. Немцы, шведы, финны, темные очки, челюсти, жующие жвачку...

– Ну как, вспомнили Волкова?

Вопрос вырвался из нее против воли. Она долго удерживалась, вела себя как положено, совершила вступительный обмен фразами насчет погоды, предстоящей прогулки по городу.

У Манежа белел новенький щит: «Выставка живописи финляндии». С тележки продавали сливочные брикеты. Из картонного ящика дымил сухой лед.

– Ну как, вспомнили?

Все застроено, покрашено, ни одной приметы блокады не осталось. Все дочиста выскоблено. Кому нужны страсти той, канувшей за горизонт, поры?..

Я пришел за четверть часа, она уже сидела в сквере. Узнал я ее издали по спине, по шапке ее неистово черных волос. Она сидела неподвижно, глаза ее были закрыты. Неизвестно, как давно она тут.

– Еще бы не вспомнить, наш знаменитый сапер Волков, «сапер Советского Союза» его звали.

Губы ее шевельнулись, она нахмурилась.

– Вы должны мне рассказать о нем все, все, что помните.

Она волновалась, и я подумал: а что как Волков жив? Мысль эта испугала и поразила меня.

– Вас что интересует?

– Все, все, – нетерпеливо подстегнула она. – Потом я вам отвечу.

Мы вышли на набережную. Мелкий блеск воды слепил глаза.

– ...Коренастый, невысокий, голос у него был густой. Он пел баритоном. Он был человек замкнутый.

Когда я произносил «был», ничто не менялось в ее лице.

– Что же он, много ниже меня? – Она остановилась передо мной.

– Значит, вы сами... вы не видели его?

Она напряженно дернула плечом:

– В том-то и дело. Я никогда не видела его.

Я подумал, что Волков был много ниже ее, сутулый, с обезьяньи длинными руками, совсем ей не пара.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– Плечистый он был, – сказал я. – Атлетического сложения, поэтому роста казался небольшого.

Если бы знать, что хотела она от меня услышать, какой ей нужен Волков.

– Его любили? Что у него за характер?

– А мы мало знали о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший.. – Я двигался на ощупь, но ее лицо выражало только напряженное внимание, ничего больше.

– Вы знаете, я так и представляла, что в жизни он немногословен, – она оживилась. – А по письмам его этого не скажешь, верно?

– Я тоже удивлялся, читая. Борис, тот как раз был рассказчик – заслушаешься, в письмах он, конечно, проигрывал..

Для чего-то я старался защитить Лукина, восстановить справедливость. Могли же одну и ту же девушку любить два хороших человека. Необязательно один из них должен быть хуже или глупее. Почему всегда один из соперников оказывается трусом, себялюбцем, словом, недостойным? В молодости я тоже так считал. Когда Волкова осудили, тем самым как бы подтвердилось, что он хуже, что он не имеет права вставать Борису поперек дороги.»

– Почему Волков развелся с женой?

– С женой... – Что-то мелькнуло, тень воспоминания, когда-то об этом толковали. – Черт, не вытащить, – признался я, – может, потом вспомню..

– А о нашей переписке Волков рассказывал?

– Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девицу. Извините, теперь я понимаю, что это – вы.

– Господи, вы становитесь все догадливее.

Я засмеялся.

– Это я нарочно подставляю вам борт, чтобы вам было легче. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбило.

– Интересно бы их сейчас почитать. Я плохо представляю, что там было.

– Я тоже все пытался вообразить. Наверное, они были на уровне.

– Спасибо, – сказала она. – Да. Все дело в интонации. Может, сегодня, я не сумела бы.. Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в девятнадцать лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.

– А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспомнить стыдно.

Мы некоторое время шли молча. Она взяла меня под руку и вдруг спросила тихо:

– Вы хлопотали за Волкова?

Я покраснел.

– Нет, это был не я. Наверно, это наш командир полка.

Она внимательно смотрела на меня.

– Вы не любили Волкова?

– С чего вы взяли? – я хмыкнул поравнодушнее. – Просто Борис был мне ближе. Пехота.

– Пехота тут ни при чем.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– Да, я был на стороне Бориса.

– Вам вообще неприятно вспоминать войну?

Она об этом уже спрашивала. Какого черта она опять лезет туда же?

– А почему мне должно быть приятно? Три года снилось, как у меня живот разворотило, никак кишки назад не могу запихать, скользкие они, длинные.

– Не пугайте меня, я это часто вижу и не во сне, – спокойно сказала она. – Почему же другие любят вспоминать?

– Не знаю. Мне хватает нынешних передраг. Вот мы сейчас воюем с Госпланом. Это же битва народов. Тридцатилетняя война.

– Вы с фронтовиками не встречаетесь?

В словах ее было больше утверждения, чем вопроса. Это была чисто женская способность внезапно, без всяких, казалось бы, оснований угадывать сокровенные вещи. Откуда она могла знать, что я давно перестал бывать на встречах? С тех пор, как хоронили нашего генерала. На гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Он служил у нас в связи. В сорок втором году его за трусость исключили из партии. Он принялся писать на всех кляузы. Еле избавились от него. Появился он через несколько лет после войны и стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, но помешать Акулову не мог. И вот он теперь встал у гроба и протянул руку. Я громко сказал: нельзя Акулову слово давать, это кощунство! Произошло замешательство. Но Акулов нашелся: ах, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех к генералу, меня ревнует, и немудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров, так любил, что... И покатил о том, какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное было время, и вот ушел тот, для кого мы были не ветераны, а солдаты, он знал дни и ночи наших боев, а для других это были всего лишь даты... Кругом меня всхлипывали, сморкались. Ничего не скажешь, красиво говорил этот сукин сын. Но после этого я перестал ходить на встречи. Все было изгажено. Мне слышались в воспоминаниях медные трубы похвальбы и акуловский голос: «Ах, какие мы были бесстрашные, какие герои!» На пионерских сборах задавали вопросы, за которые было неловко, – какие подвиги совершили вы и ваши товарищи? Сколько у вас орденов, сколько фашистов вы убили? Две девочки с пушистыми косами водили меня по школьному музею боевой славы. Под стеклом лежали начищенные диски автомата. Была сделана модель землянки, стены обшиты досочками, внутри зажигалась маленькая лампочка, укрепленная на пистолетной гильзе. Это было трогательно. Девочки попросили подарить музею мои именные часы и сказали, что если мне сейчас жалко расставаться, то чтобы им дали их, как только я умру. Милые девчушки, исполненные заботой о своем музее.

– Они что же, ссорились?

– Кто?

– Да Волков с Лукиным?

– Бывало. Цапались. А между прочим, Волков одеколонился, – неожиданно выскочило у меня, и я как-то по-идиотски обрадовался. Вспомнил, что Волков натирался после бритья тройным одеколоном и то, как нас возмущал этот поступок. Одеколон у него воровали и выпивали. Каким-то образом он вновь добывал его в Военторге, и за круглым этим пузырьком шутники охотились из принципа и, конечно, обнаруживали.

– Одеколонился, вы представляете!

Разумеется, она не могла взять в толк, что тут особенного.

– ...Справа стоит одна из колонн с гением Славы, подарок Николаю первому от прусского короля в 1845 году...

Казалось, что Жанна потихоньку переводит гида, который бойко шпарил по-немецки, но скоро я уловил несоответствие. Толпа экскурсантов потянулась к площади, а Жанна продолжала объяснять мне. Она наизусть повторяла текст волковских

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru открыток. Поднимала палец, придавая словам торжественность. То же произошло и у Медного всадника, «созданного скульптором Фальконе в 1782 году», и так далее, и тому подобное. Потом она дала мне очередную открытку, изображающую Исаакиевский собор, отдекламировала ее текст и стала продолжать сама про колонны, осадку, ворота, про неудачный проект Монферрана... На черно-белой открытке мимо собора несли аэростаты заграждения. Три продолговатые, серебристые туши. Я никогда не видел их вблизи, всегда только издали. Даже в бинокль они плохо различались на фоне белесого неба.

Сейчас вместо аэростатов тянулась длинная очередь желающих попасть в собор. Я никогда не был в этом соборе. Меня не интересовал ни Монферран с его просчетами, ни голова Петра, которую, оказывается, лепил не Фальконе, а девица Колло, – меня больше занимало волнение Жанны, она никак не могла сладить со своим голосом. Ровная безучастность прерывалась, будто ей не хватало воздуха. Она взглядывала на меня с необъяснимо просящим выражением. Я кивал, энергично поддакивал, но было неловко оттого, что не могу разделить ее восторга перед этими памятниками и ансамблями. Я рос среди них и не замечал, как не замечал уличного шума, вывесок, запаха нагретого асфальта. Я был потомственным горожанином. Я знал другой город – с очередями, колоннами демонстрантов, его лестницы, дворы, коммунальные квартиры. Внутрь собора попасть не было надежды. Без очереди пропускали организованные экскурсии. В большинстве это были иностранцы. Мы пытались пристроиться к немцам, но нас вежливо отделили. Зато я впервые дошел до самого входа и потрогал изображения святых на воротах.

Пройдя мост, мы очутились перед Биржей. Мы двигались по маршруту, обозначенному открытками.

– Левее Биржи здание Зоологического музея, – произносила Жанна. – Третьего по величине в Европе. По бокам – Ростральные колонны. Сама Биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Обратите внимание, – сказала она другим голосом, – он пишет с уверенностью человека, побывавшего в Греции. У него все перед глазами. «Калликрат был бы недоволен качеством материала, – продолжала она декламировать, – Фидий – отсутствием скульптур, а вообще все выдержано точно в дорическом стиле. К счастью, с главного портала убрали световую рекламу, она мешала целостности впечатлений. Это место одно из самых красивых. Вот какой наш Ленинград! Гравюра принадлежит дивному художнику Остроумовой-Лебедевой, она умеет, как никто, показать прелесть нашего города. Здание Биржи получилось у Томона лучше его проекта. Редкий случай...»

Текст открытки кончился. Жанна продолжала показывать обуженные капители, портики.

– Да вы же ничего не чувствуете! – с горечью воскликнула она.

Какого черта я должен умиляться этим пандусам и Фидиям, я ничего не понимаю в архитектуре и не собираюсь в ней разбираться.

Она расстроилась. При чем тут пандусы, неужели мне ничего не говорят сами открытки, выпущенные в блокаду бог знает какими усилиями, что уже было подвигом, да еще посланные в те месяцы из осажденного города в Грузию, а до того купленные и привезенные на фронт и там в окопе исписанные крохотными буквами, чтобы побольше уместилось, отправленные полевой почтой, сохраненные все эти годы и сейчас вновь привезенные сюда. Да как же всего этого не чувствовать! Одно это превратило их в поразительный документ. Черные глаза ее пылали. Надо быть бездушным человеком, чтобы не оценить любовь Волкова к городу, не оценить его эрудицию, да кто бы мог описать по памяти все это с такой точностью! А как ощущал он красоту города, в то время изуродованного, полумертвого. По этим открыткам она изучала Ленинград, из-за них она раздобыла альбомы и монографии. Она выучила город, вызубрила его. И это место – стрелка Васильевского острова – действительно самое прекрасное место, она не представляла, что отсюда такой вид на Петропавловку.

Я понял, что впервые отдельные фотографии, картинки соединились для нее в панораму, какую можно было окинуть долгим взглядом. Арки мостов, берега Невы, раскинутые крылья набережных – она жадно оглядывала все это, но, я чувствовал, не своим взглядом, а как бы глазами Волкова. Она перестала обращаться ко мне, теперь она говорила скорее этим грязно-белым языческим богам, сидящим у подножья Ростральных колонн. Лицо ее озарилось сиянием, которое заставило остановиться

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru туркмен в стеганых халатах, они благоговейно любовались ею, покинув экскурсовода. Я чувствовал себя виноватым. Вся эта история с открытками заслуживала, наверное, куда больше внимания, чем мне казалось. Для меня это была пустяковина. Нашел чем заниматься во время войны, показывал свою образованность, как будто впереди у этих двоих, у Волкова и Жанны, были годы и годы, – такие открытки могут писать в отпуске вот эти экскурсанты.

Но тут же я подумал о том, как не раз в своей жизни принимал за пустяки чьи-то смущенные признания, косноязычную просьбу, а потом из этого выростала чья-то трагедия, менялись судьбы. Картины, о которых доложил старшина, оказались из Дрезденской галереи, а я даже не взглянул на них. События часто огибали меня и скрывались неузнанными. Маленькая Наташа, наша соседка, которая год упрасивала-меня почитать стихи, была, оказывается, влюблена в меня и уехала во Владивосток, выйдя замуж за моряка. Волковские открытки остались и все эти годы будоражили чью-то душу.

– Никогда не знаешь, что останется от нас, – сказал я. – Наверняка не то, на что мы рассчитывали.

Мы шли по городу от одной открытки к другой. Ее интересовал только этот Ленинград. Может быть, я должен был сказать ей, что ее Волков создан из писем и фотографий, что он бумажный возлюбленный, она сделала его, отбирая лучшие фразы. Это было надувательство. Но я все не знал, надо ли это говорить.

– Ну, как вам его последнее письмо?

– Бодрое письмо. Работа по душе, ценят его...

Начала она слушать жадно, но быстро угасла.

– Неужели вы не заметили, что он никого не винит? – перебила она и поглядела мне в глаза, словно напоминая про мои страхи. – Он себя винит за ту просьбу! Меня оправдывает, а себя винит! – Холодное твердое лицо ее порозовело, залучилось нежностью. – Как деликатно он прощает, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят, понять – значит, наполовину простить. Он понять не мог, не знал ничего, а простил. Меня бы месть, самолюбие спалили. Я не умею прощать. Это плохо. От его письма у меня совесть очнулась. Я увидела себя. Вы знаете, Антон Максимович, я подозреваю, что он приезжал в Тбилиси ко мне. Один непонятный случай был. Человек у дома моего стоял. У кабинета моего в поликлинике сидел. Правда, с шевелюрой был. Может, я потом навообразила...

Зеленая вода в каналах пахла гнилью. На маслянистой пленке колыхалось четкое отражение: двое над перилами, над ними голубое небо восемнадцатого июня. За четыре дня до начала войны, подумал я.

Из-под свода моста выплыла лодка, на корме сидела девушка с кружевным розовым зонтиком. Жаркое небо накладывало тонкий голубой слой на окна, на блеск машин, на воду. Город голубовато светился. Что-то обидное было в его обольстительной красе.

Дойдя до Симеоновской церкви, Жанна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом снесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. «Дом Волкова» – у нее звучало примерно так, как «дом Достоевского». Мы сели на скамейку. Я вытянул больную ногу, стараясь не морщиться. Знал я волковский дом. Он был ветхий, скучный, с узкими вонючими лестницами. Несколько раз я бывал в нем. На втором этаже, в конце коммунального бедлама, когда-то помещалась ободранная нора моих коротких свиданий. В сущности, следовало бы благодарить и за это убежище. Хуже нет изматывающей бесприютности подъездов, садовых скамеек, дворовых закоулков с кошачьими свадьбами. Гнусная маета молодых бездомных, маета, в которой гаснут желания и перегорают страсти. Та женщина умела целоваться как никто. После поцелуя она сама восклицала: «Ах, как вкусно!» Под окнами тархтел трамвай, мчались грузовики, и от этого шума мы почти не разговаривали друг с другом.

– ...приехала в Ленинград в сорок шестом году. Выхлопотала командировку. Через справочное разыскала адрес Волкова. Пришла, звонила-звонила, никто не отвечает. Вышла соседка. Старуха в меховой шапке. Я наплела ей, что один фронтовой раненый просил узнать про своего друга. Мне стыдно было сказать правду, – я, девушка,

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru разыскиваю такого взрослого мужчину. Старуха долго приглядывалась ко мне, потом шепотом сказала: не ищи, у него плохая судьба. Не ранен, значит, не убит, поняла я. А дома меня Борис ждал. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что случилось с Волковым.

– Борис-то зачем приезжал?

– Предложение мне делал.

– А вы?

– Отказала.

– Отказали? Ему?

Я потрясен был всей силой моего восхищения Борисом, он возник передо мной во весь рост, голубоглазый, шинель внакидку, золотая кудряшка прилипла ко лбу... Жанна с улыбкой смотрела на мое видение. Он был тот же, не стареющий, двадцатитрехлетний, а она-то, как она решилась, как посмела?! К чувству недоумения примешивался вдруг интерес к той девятнадцатилетней грузинской девушке.

– ...геройский офицер из-под Вены приехал специально ко мне. Увидев меня, не разочаровался. Подруги завидовали. Женихи в цене были. Почти все наши мальчики погибли. Как мама уговаривала меня! Борис ее очаровал. Да и мои отношения с Волковым ее беспокоили. К тому же Борис маме наговорил «про него. Это я потом узнала, слишком поздно.

– Почему наговорил? Рассказал, – поправил я.

– Наговорил, – твердо повторила Жанна. – У Бориса и так были все преимущества. Ведь все выглядело романтически, нашу историю с ним пропечатали в газете, – в темном прищуре Жанна рассматривала что-то неведомое мне. – Знаете, что меня остановило? То, что он торжествовал. Он не жалел Волкова, он считал, что то, что случилось с Волковым, законно.

– Но если он так думал... Зачем вы писали Борису до самой победы, зачем вы его обнадеживали?

– Я отвечала на его письма.

– Отвечали... А он на ваши письма. Это и называется переписываться.

– Конечно, это было легкомысленно.

– За что же вы нас судите? У вас легкомыслие, у нас недомыслие.

– При чем тут вы? – холодно спросила Жанна.

– А я так же отнесся к той истории.

Я принялся объяснять ей, но ничего не получилось. Вопросы Волкова, которые нас раздражали, сомнения, которые мы отвергали, поступки, которые вызывали насмешки, – все потеряло убедительность. Не очень умно и симпатично мы выглядели, но тогда... Как показать ей расстояние, которое мы все прошли?

Она тронула мою руку.

– Меня тоже пугали высказывания в его письмах. А теперь я не могу их найти.

– Борис так и уехал?

Она кивнула.

– И все? Больше не писал?

– Ни разу.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Она могла стать женою Бориса, думал я, и мысль эта делала ее ближе и в то же время порождала какую-то печаль и жалость к собственной судьбе, какая возникает, когда видишь красивую женщину, чужую и недоступную.

Он добирался до Тбилиси так же, как я до Ленинграда, на крышах, в тамбурах. Я все это легко представлял: кипяток на станциях, долгие стоянки, трофейное вино, офицеры, солдаты, гражданские – все перемешалось, и все это пело, ликовало, одаривало друг друга, захлебывалось планами, надеждами, травило байки, играло на перламутровых аккордеонах, выменивал чокалось... И представил, как Борис возвращался из Тбилиси к себе в Костромскую. Отвергнутый, – а за что, на каком таком основании? Он, – кому весь мир принадлежал, потому что весь мир был обязан нам, и все эти бабы, девки, которые счастливы должны быть от одного нашего слова. Так оно было, так и я жил в тот хмельной послевоенный, салютный наш первый год на гражданке.

– Тьфу, это же чушь собачья, – сказал я. – Выходит, похвали Борис вашего Волкова, у вас все бы сладилось и вы пошли за него? По-вашему, он не имел права ругать соперника. Абсурд. Извините, это не проходит.

– Прошло. В моей жизни мало было абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично, разводилась логично.

– Вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?

– Нет, – мягко сказала она. – Отчасти я ему благодарна. Но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Это была еще не любовь.

– Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова, где он просил прислать мыло?

– Его нет. Я сама не читала его.

– Как так?

– Мать скрыла от меня, спрятала его.

Она проговорила это с натугой, хотела что-то добавить, но промолчала.

– Хотите проехаться на пароходике, тут недалеко пристань? – сказал я.

– Почему вы не спрашиваете, как все это было?

– Вам неохота говорить об этом.

– А вы не решайте за меня, – сказала она неприятным голосом.

– Вы же сами просили не задавать вам вопросов.

– Вы всегда такой послушный?

– Послушайте, Жанна, я разучился разговаривать с женщинами. Я никогда не знаю, чего они добиваются. Чтобы не обращали внимания на их слова? Ну-зачем это им надо? Даже Лев Толстой не понимал женщин.

– Единственный, кто их понимал, это Толстой.

– Нет уж, извините, он в собственной жене не мог разобраться. Его сила состояла в том, что он знал, что женщин понять невозможно. Вы замужем?

Она неохотно усмехнулась:

– Надо выяснить, я об этом не задумывалась.

Что-то мешало ей начать.

– Не мучьтесь, – сказал я. – Зачем будить демонов?

– Будем будить, – твердо сказала она. – Иначе ничего не получится. Для этого я и

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru приехала. Надо же мне оправдать поездку.

– Тогда не стесняйтесь, сыпьте без купюр.

Вот уж кто не стеснялся. Она говорила быстро и ровно, но как будто рассказывала не о себе. Глаза ее смотрели на меня невидяще, устремленные куда-то туда, куда она стремилась быстрее добраться.

– ...в госпитале я много писем писала раненым, под их диктовку. Редко кто из них не присочинял. Одни преуменьшали свои раны, другие преувеличивали, третьи расписывали свои подвиги, а те свою тоску и любовь. Вроде бы на меня после этого не должны были действовать письма Волкова, верно? А они действовали, и все сильнее, я привыкла к ним, как к наркотику. Мне их не хватало. Я их принимала один к одному. А вот много позже я усомнилась. Взрослость цинизма прибавила. Это я от первого мужа заразилась. Мне хотелось патенты Волкова проверить. И все оказалось правда. В Париже в музей ходила импрессионистов смотреть. Тоже ради проверки. Все хотела уличить его, хотелось низвести его. А за что? За то, что он обманул меня и бросил. Я после отъезда Бориса все ждала, что Волков сообщит о себе. А тут у меня отец умер от инсульта, мне больно было, что он умер голодным. В Тбилиси голодно было. Мама меня винила: вышла бы за Бориса, мы обеспечены были бы. Она вслух этого не говорила, но я знала, что она так думает. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали, ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова, на вид молодцом, солидный, образованный, владел английским, любил поэзию. Он был приятен, и я уступила. Жизнь действительно стала легче, появились вещи, наряды, что ни день – застолье. Откуда-то шли деньги, с ними возможности, о каких раньше и не мечтала...

Она живо изобразила, как посреди пира муж вставал и проникновенно читал стихи Бараташвили или Тициана Табидзе. Это почему-то успокаивало ее. Ей казалось, что человек, любящий стихи, не может быть жуликом. В минуты откровенности он признавался, что его влечет риск коммерческих комбинаций. Наша цивилизация, говорил он, возникла благодаря торговле. Все началось с коммерческого таланта. Этот талант надо использовать. Грех, когда талант остается неиспользованным, и тому подобное. Он жил бурно, смело и погиб в горах при неясных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело.

– Мне доказали, что я нужна была ему для прикрытия, поскольку семья наша имела безукоризненную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача. Я бросила строительный. Мне хотелось хоть чем-то искупить...

Несколько жизней, куда больше, чем я думал, уместилось между той девчонкой моих лейтенантов и этой женщиной, которая зачем-то ехала ко мне с их письмами.

Дети носились в сквере на том месте, где жил Сергей Волков, где над нами, в невидимом объеме, когда-то стоял аквариум, этажерка со справочниками, висела репродукция Рембрандта. Напротив нас возвышалась желтая с синим церковь Симеона, одна из самых старых в городе, как сообщила Жанна. По этой церкви Волков всегда сможет определиться. Хоть что-то осталось. А от нашего дома в Лесном и от соседних – ничего, все разобрали на дрова.

– Может, он еще жив? – спросил я.

– Я наводила справки. Он умер четыре года назад. Там, на Севере. Он там остался. Но лучше я по порядку...

И она продолжала с добросовестной откровенностью, как будто давала показания. У меня было ощущение, что, как в показаниях, любая подробность могла пригодиться, из этих подробностей складывался какой-то, пока еще неясный, смысл.

После первого мужа был второй, который оказался болезненно ревнивым.

– Он уверен был, что я его должна обмануть. Причем как женщина я его интересовала не часто, на какие-нибудь пять минут. Заставил меня аборт сделать. Не верил, что его ребенок.

Без пощады и без стеснения выкладывала она тайны своей женской жизни. У нее получалось так естественно и просто, что и я воспринимал это так же.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Она развелась и почувствовала облегчение, к ней вернулась независимость, ощущение своего «я». Замужем она побывала, долг свой выполнила, теперь она вольная птица. Семейный очаг у нее как бы был: мать – предмет забот и долга. И работа выиграла, она ушла с головой в медицину – самая лучшая в мире профессия, в которой можно не думать о карьере, о званиях и каждый день добиваться успеха. Мужчины появлялись и исчезали в ее жизни без особого следа. Был, например, один красавец, который делал карьеру. Он брал ее на приемы, водил как личное украшение. Аристократизм Жанны как нельзя лучше подходил к его планам. Выяснилась, правда, одна закорючка – отец Жанны имел иностранное происхождение. Еще в прошлом веке дед приехал в Грузию из Испании и долго сохранял испанское подданство. Жанна со злорадством наблюдала, как это обстоятельство путало все далекие расчеты ее кавалера. Бедняга не понимал, что безупречная биография может так же не нравиться и тормозить карьеру. Гладенького ведь никак не придержать, не за что зацепиться. Мужчины были вовсе не так умны, как представлялось ей в молодости. Все больше попадалось бесхарактерных, закомплексованных, плохо работающих, а главное – скучных и недалеких.

– Сама еще не сознавая, я все искала мужчину умнее себя, чтобы и культурный был, чтобы на него снизу вверх смотрела. Словом, обычные требования разочарованной женщины средних лет. Вот тогда начал мне вспоминаться Волков. Перечитывая его письма, я убеждалась в его преимуществах. Он становился крупнее и, как бы это сказать, – ощутимее! Вы понимаете?

– Да, пожалуй.

Она недоверчиво усмехнулась и пояснила, что поскольку Волков располагался в прошлом, то существование его обрело законченную реальность: когда-то у нее был возлюбленный, они любили друг друга и идеально соответствовали. Он был лучшим украшением ее женской биографии. При случае можно было показать подругам фото, хорошо, что он не мальчишка, с годами он все больше подходил ей. Иногда она мечтала – а что, как он объявится? Ей нравилось представлять свое существование жизнью до востребования. Она придумала ему оправдание – его гордость. Конечно, с годами фигура Волкова затуманилась, отодвинулась, осталось лишь приятное воспоминание. От него, пожалуй, передалось увлечение живописью, архитектурой – то, что когда-то заставляло ее тянуться, отвечая на его письма. Год назад умерла ее мать. Разыскивая документы, чтобы оформить похороны, Жанна наткнулась среди бумаг матери на письмо Волкова. То самое, которое я читал. находка ошеломила ее. Она стояла не в силах пошевелиться. Значит, он ей писал! А мама, для чего она утаила, спрятала? Из текста видно было, что было еще одно, а может, и два письма в 1945 году. Он сразу написал ей, как и должно было быть. Она кинулась искать, перерыла весь дом и не нашла. Перед гробом матери она стояла, вглядываясь в застывшие черты, пытаясь понять, что же случилось, почему мать так поступила? В том, первом письме Волков просил о помощи, и она, Жанна, ничего не ответила, промолчала. То, первое письмо мать тоже спрятала или уничтожила. Но как мать могла? Тут было что-то дикое, несусветное. Она хоронила мать с тяжелым сердцем.

– Все перевернулось во мне, Волков ожил, появился, я чувствовала себя виноватой, опозоренной. Невыносимый стыд мучил меня. Вы только подумайте – на первое письмо не ответила, не помогла, на второе тоже. Что он подумал обо мне? Выходит, он все эти годы не забывал меня. Ждал ответа. Представляете, какое это предательство, какая низость... – Сплетенные ее пальцы побелели. Она смотрела на меня умоляюще.

– При чем тут вы? Что вы на себя валите? – горячо сказал я, и сказал это поглубже, я не хотел, чтобы она говорила о себе плохо, с такой болью.

– Нет, погодите, я восстановила, как все это было. Первое письмо пришло как раз в те дни, когда Борис приехал. Мама испугалась за меня. Не знаю, чем там Борис настрашал, но она, увидев обратный адрес, конечно, вскрыла. Страх... Многое надо было, чтобы она решилась на такое. В нашей семье вскрыть чужое письмо – этого нельзя представить. Но страх... Страх жил в ней. Я вам клянусь, если бы я сама прочла письмо, я бы все бросила, помчалась к нему. Мать это знала. А второе письмо пришло, когда у меня все было хорошо. Мать защищала мое счастье.

– Ее тоже можно понять.

– Но Волков ведь не знал, как все было. Он решил, что я струсил. Испугалась за свое благополучие. Поверила, что он преступник, – так ведь даже преступникам не отказывают в милосердии. А я отказала. Мыла кусок пожалела. Этот кусок мыла у

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
меня из головы не идет.

– Но вы бы послали, если б знали.

– А почему я не знала? Почему? – воскликнула она режущим голосом и схватила меня за руку. – Думаете, потому, что мама письмо спрятала? Верно? Как будто я ни при чем? Недоразумение, мол, случилось. Мама перестаралась... – Лицо ее перекошилось в усмешке. – Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. На самом-то деле все из-за меня. Ах, если б можно было отнести все за счет случая, пожаловаться на судьбу. Да? А нельзя. Потому что судьба дала мне еще шанс. Судьба заботилась обо мне. Цыганка однажды предупредила меня – ты, говорит, счастливая, к тебе судьба всегда дважды будет обращаться, все исправить можешь. Второе его письмо пришло, и все можно было поправить. Но я была заверчена Сандро. Мой первый муж. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что это счастье, я сама ей говорила. И с Борисом ведь так же было. Зачем я морочила ему голову? Вы правильно сказали. Не полгода – до самого конца войны морочила. Нравилось, что он приехал. Когда уезжал, какой он был жалкий, – хоть бы что шевельнулось у меня, а теперь перед глазами вижу – улыбочка его белая. Приезд Бориса – моя вина. От приезда все и пошло.

– Вы наговариваете на себя. Вы слишком молоды были.

– Я одна во всем виновата. Никто больше! Все из-за меня!

Глаза ее налились влагой, нелегким усилием она сдержала себя, чтобы слезы не выступили, лицо ее некрасиво ожесточилось.

– Плохой поступок всегда плохой поступок, – сказала она. – Что в старости, что в молодости – одинаково плохой. Когда-нибудь этот поступок тебя догонит. Вот он и догнал. А с бедным Сандро, думаете, иначе было? Как бы не так. Я глаза на все закрывала, думать не хотела, откуда все берется. У меня оправдание было – человек стихи любит.

Она запрокинула голову, прочитала, глядя в небо:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня. И жизни ход оправдывает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет – не места сдышит
И заживо схоронит. Вот что стих.

– Как он читал Тициана! Даже эти хапуги-бражники ему аплодировали. Я защищалась ложью. Сколько всякой лжи я позволяла! Лыстила тем, кого презирала. Иногда мне хочется прийти в мою школу, в мой класс, стать перед детьми и признаться им во всех моих грехах. Кому-то хочется признаться, но кому охота слушать... – Она брезгливо сморщилась.

Мне стало не по себе. Как будто ее откровенность изобличала меня. Мне вспомнилось, как после пожара в цеху один за другим мы выходили перед комиссией и каждый защищался как мог. Энергетики показывали на монтажников, монтажники – на строителей. Все знали, что цех нельзя принимать в эксплуатацию. Приняли. Уступили начальнику. Никто не сказал: братцы, я виноват, я поддался, из-за меня люди пострадали, лежат в больнице. Почему совесть никого не подтолкнула, и меня не подтолкнула? Я радовался, что пронесло. Раз меня не судили, что ж себя судить.

– Вы знаете, Жанна, – сказал я голосом, которого давно не слышал у себя, – вы молодец. Вы молодец, что так говорите.

Я понимал, как трудно – найти свои проступки, оценить их как проступки, провести следствие над собой. В сущности, Волков, когда выступил насчет наших потерь, побуждал нас подумать, хотя бы смутиться чрезмерной ценой нашего успеха. Я сказал Жанне, как мы разозлились на Волкова, потому что не видели честности его поступка. До сих пор не знаю, что толкнуло его – гибель Семена или самодовольная наша праздничность? Но это был поступок, и он не прошел бесследно.

Скрипнули тормоза, возле нас остановился невесть откуда взявшийся старинный желтый автомобиль с высоким кузовом, похожий на карету. Оттуда высунулся мужчина с крашеными рыжими волосами.

– Как проехать в Театральный институт? – крикнул он.

Я показал ему. Он увидел Жанну и, не спуская с нее глаз, вылез из машины, подошел к нам. На нем была кожаная куртка и желтые блестящие краги, такие носили в начале века.

– Вы похожи на ту, которая мне нужна для картины, – сказал он. – Это фильм о любви. Неземная любовь, над ней все смеются. Вы не красавица, но понятно, что из-за вас можно было наделать глупостей. Вам не надо ничего играть. Вы будете сидеть на плоту.

– Я не могу сидеть на плоту, – сказала Жанна. – Я замужем. Я не могу смотреть на других мужчин.

Рыжий подмигнул мне, вручил визитную карточку с телефоном и уехал, сказав, что ждет вечером звонка.

– Нам помешали, – сказала Жанна, – рассказывайте дальше, рассказывайте.

– Собственно, это все.

– Вы не приукрашиваете его специально для меня? – сказала она подозрительно.

– Все делается ради вас, – сказал я. – Как же иначе.

– Не обижайтесь. Мне показалось, вы пересиливаете себя.

– Так оно и есть. Не очень-то приятно сознавать, как ты был глуп. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы – и началось. Скажите, зачем вы приехали?

– Расспросить у вас про Волкова.

– Что расспросить? Зачем?

– Я думала... может, вы переписывались.

– И что? К чему вам теперь эти сведения?

– Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер. Ничего не осталось.

– Вы не ответили. Зачем я вам понадобился, для чего вы заставили меня читать письма?

– Простите меня, я отняла у вас много времени.

– Не в этом дело.

– Я думала, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарищей.

– Ну что ж, это было действительно приятно. Пожалуй, я рад, что там побывал. Туда надо возвращаться. Но все же не ради этого ведь вы приехали. Не для того, чтобы пройтись по достопримечательностям и показать мне всякие фронтоны.

– Но ведь вы многого не знали, – она быстро взглянула мне в глаза, сделав кокетливое выражение.

– Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить – не надо. Будем считать, что у вас есть причина.

Она разглядывала свои пальцы.

– Когда вы уезжаете? – спросил я.

– Причина есть. Ее трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Так вот, мне нужно было, чтобы кто-то знал, почему так вышло. Я выбрала вас. Я считала, что вы фронтовые товарищи. Я хотела, чтобы вы знали, почему я не

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru помогла Волкову. Не ради оправдания – понимаете? Просто, чтобы кто-то знал.

– Но что я могу? – сказал я растерянно. – Я ничем не могу помочь, он же умер.

– Ну и что с того, что умер, – сказала она звенящим голосом. – Я все равно должна была.

– Что вам, от этого легче?

– Вы не поняли. Так я и знала... – Она разом сникла. – Я не могу объяснить.

Тот узкий валкий мостик, что перекинулся меж нами, как бы согнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил и что-то мне брезжит. Может, и впрямь мне что-то мелькнуло, как бы приоткрылось на миг и исчезло, – какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. И я опять не понимал, зачем она приехала, зачем призналась мне и что ей с того, что я знаю. Вопросы мои были слишком грубы, я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. У Жанны Волков сейчас существовал реальнее, чем несколько лет назад, когда он был жив. Так бывает. Про Бориса мы почему-то так ничего и не стали выяснять, что с ним, как он, – он жил в наших разговорах, и нам этого было достаточно.

Вечером я провожал Жанну на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Дала мне веревку, и я старательно перевязал сверток, легкий, неудобный. «Купила в подарок хлебницу», – сообщила Жанна. На ней был синий ситцевый халатик» тоже ленинградская покупка. Она сказала, что пойдет на вокзал в этом халатике, накинув легкий плащ, чтобы в вагоне не переодеваться. Она болтала о пустяках, была быстрой, домашней, только глаза были припухшие, красные.

А он, Волков, не принес бы ей счастья, вдруг понял я. Он был слишком тяжел для нее с его самолюбием и самонимением. А что, если освободить ее сейчас от ее угрызений? Это сделать совсем несложно. Она перестала бы себя корить. Но я решил ничего не говорить. Было жалко ее, и при этом я чувствовал, что не надо помогать ей.

Итак, события ее жизни соединились в некий рисунок. Письма, замужества, страхи, больничные дела, мамина шкатулка – все, что было позади, осветилось, и стала видна судьба. Понятие это всегда казалось мне надуманным. В чем состояла моя судьба? В своем прошлом я не мог различить никакого единства. Пестрые обрывки, да и те куда-то сдувало. Как будто за мною двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. В войне – там была цель, была пусть долгая, но ясная дорога к победе, был путь к Берлину. События после войны – куда они меня вели? Был ли этот путь? Не могла же моя жизнь катиться просто так, наверное, и в ней есть тайна, скрытая за суетой, за всем, что кажется таким важным сегодня и ненужным завтра. Может, лежат где-то запрятанные от меня письма, не дошедшие вовремя. Так я утешал себя.

Перед уходом мы присели. От рычащих внизу машин тонко дребезжали стекла. Мы сидели и слушали, потом поднялись одновременно. Путь до вокзала был короток, всего лишь пересечь «площадь». Мы шли медленно, говорили о том, чем хороши деревянные хлебницы, о петергофских фонтанах. На вокзале на всех перронах гомонили, тащили чемоданы, толпа обнималась, всхлипывала, встречала, прощалась. Мы постояли у вагона. Зеленый его бок, раскаленный за день, источал тепло. Белый свет ламп мешался с высоким серебряным светом негаснущей зари. Последние минуты утекали впустую. Я не знал, чем их остановить. Наверно, я должен был что-то сказать. Передо мной стояла единственная на свете женщина, которая связывала меня с моей молодой войною, с той лейтенантской жизнью, когда мы влюблялись по фотографиям. Возлюбленные оживали в наших мечтах, тряслись с нами в танках, на занесенных фотографиях они все были небесной чистоты, пышногрудые ангелы наших сновидений. Жанна была из них, я знаком был с ней несколько часов и десятки лет. Через несколько минут она уедет, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Это было неправильно. Я знал, что поалею о своем молчании.

– Напрасно вы отказались сниматься в фильме, – начал я со смехом, который плохо получился.

И она начала улыбаться, но остановилась.

Еще заметен след. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– Приезжайте, – сказал я.

Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке, не усмехнулась, не удивилась, прекрасная ее мрачность вернулась к ней и обозначила этот миг серьезностью.

– Не знаю, – сказала она виновато.

Это было как фотовспышка. Я знал, что запомню ее такой. Горячую тьму ее глаз, смотрящих на меня не мигая. Белое и чистое лицо ее, смягченное грустью. За эти сутки она осунулась и посветлела.

До сих пор я был для нее источником сведений о Волкове, и вдруг я, кроме того, возник как самостоятельная личность.

– Еще не поздно, – сказал я. – Завтра поедem с вами на студию.

– И что?

– Начнете сниматься. Я уверен, что получится. Тем временем я буду вспоминать. Вы будете приходить после съемок, а у меня будут готовые воспоминания.

– Похоже на предложение, – весело сказала она. – Правда, слишком робкое.

Мы с облегчением рассмеялись. Все ушло в шутку. Она подала мне руку, поблагодарила, на площадке обернулась и что-то сказала, но я не расслышал. На Невском фонари не зажигали, было светло илюдно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. И у меня тоже не было тени. Кошка пробиралась, лишенная тени, из урны шел дым, нигде не отражаясь, – все было отделено от земли. Проспект плыл, колыхаясь в этом, идущем ниоткуда, свете. Никогда прежде я не видел город таким приподнято-легким, молодым. Рассеянность, неуловимость света придавала всему загадочность. Незнакомая красота была во всех этих, известных с детства, домах, подъездах, перекрестках. Все было странным, как и то, что я сегодня услышал. Тоже вроде бы ясно – и непонятно. И приезд Жанны, и ее рассказ – все это вызывало у меня и благодарность, и удивление. Выходит, она действительно приезжала ко мне ради того, чтобы я знал. Но что мне делать с этим знанием, с этой памятью, если ничего нельзя исправить? Вот о чем я думал и знал, что мысли эти долго еще не будут давать мне покоя.
1984

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!